

Векторы исторической эволюции

2.1. Архетипы времени в традиционной культуре

*Чего не портит пагубный бег времен ?
Ведь хуже дедов наши родители,
Мы хуже их, а наши будут
Дети и внуки еще порочней.*

Гораций

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

Екклесиаст

Потомство будет благодарно мне за то, что я показал ему, что древние не все знали, и это может проникнуть в сознание тех, которые придут после меня для передачи факела сыновьям.

П. Ферма

Мысль о том, что общество и природа способны необратимо развиваться от менее совершенных к более совершенным состояниям, — исключительное достояние Нового времени. Отдельные фрагменты из работ Гераклита, Демокрита, Эпикура, Анаксагора, Эмпедокла или Лукреция подчас представляются античными прецедентами эволюционного мировоззрения

[Edelstein L., 1967], [Михаленко Ю.П., 1984]. Но при более полном прочтении выясняется: почти никто из древних мыслителей даже не пытался создать сколько-нибудь цельную концепцию необратимой поступательной эволюции. А удивительные аналоги диалектического учения (у Гераклита), теории естественного отбора (у Эмпедокла), теории социального прогресса (у Лукреция) и т. д. сочетаются с указаниями на неизбежность обратных фаз деградации или на грядущее разрушение земли и неба.

Дело в том, что образ кумулятивного развития сопряжен со специфическим переживанием времени, которое не свойственно ни древности, ни Средневековью, ни даже Возрождению.

Этнографы знают, как трудно объяснить первобытному человеку, что такое будущее и почему, например, лучше закопать зерно в землю ради последующего урожая, чем сразу его съесть. Зато дикарь легче, чем европеец, поймет теорию относительности, для этого не надо придумывать словесный кентавр «пространство-время» и доказывать, что оно не существует помимо событий. Такие послы заложены в его синкретическом мышлении и языке: первобытный ум не ведает объективной однородной длительности, а превращение пространственного объема во временной отрезок и наоборот — трюк вполне обычный для мифа [Франкфорт Г. и др., 1984], [Юревич В.А., 1999].

Четкие временные категории отсутствовали еще в глагольных системах древних городов-государств, у них фиксируются только завершенные и незавершенные формы глагола. «Шумеры и вавилоняне... «глядя вперед», видели прошлое, а будущее как бы лежало у них за спиной» [Вассоевич А.Л., 1998, с. 434].

Но и наличие глагольных категорий времени не изменило сути дела решающим образом. Так, у греков «время лишено однородности и исторической последовательности и, подобно пространству, не стало еще абстракцией. Мир воспринимается и переживается древними греками не в категориях изменения и развития, а как пребывание в покое или вращение в великом кругу. События, происходящие в мире, не уникальны: сменяющие одна другую эпохи повторяются, и некогда существовавшие люди и события вновь возвращаются по истечении «великого года» — пифагорейской эры» [Гуревич А.Я., 1984, с.48]. Отсюда принципиальный аисторизм античной философии, на которую обращал внимание А.Ф. Лосев [Беседа..., 1984].

Конкуренцию циклическому хроноощущению античности и более древних эпох составлял образ нисходящего движения с золотым веком в ретроспективе. Сходный в принципе утопический идеал старины свойствен всем древним народам [Семушкин А.В., 1985], равно как и идея циклизма, хотя некоторые из современных античности восточных космологии отличаются невероятной протяженностью временных циклов. Так, по свидетельству Аль-Бируни [Бируни А.Р., 1963], индийские философы выделяли нарастающие круги времени — от «человеческих суток», которые одни только известны «массам народа», и далее до «суток Шивы». Бируни подсчитал, что максимальный цикл выражается 56-значным числом «кальп», а каждая кальпа — 10-значным числом лет. Однако, судя по всему, индийцы не утруждали себя столь сложными расчетами, главным для них было наличие обратимых циклов.

Позднеримские историки более восприимчивы к линейному течению времени, что в значительной мере связано с влиянием христианской идеологии, которая, в свою очередь, унаследовала эту парадигму от иудаизма. У иудеев такие образы то ли имели оригинальное происхождение, то ли были заимствованы у Заратуштры.

Вероятно, великий перс, первый пророк Осевого времени, провозвестник индивидуального человеческого выбора и личной ответственности, стал вместе с тем и первым мыслителем, «начертавшим» в своем воображении (и учении) восходящую линию развития к окончательной победе Бога над Дьяволом [Берзин Э.О., 1985]. Его можно считать родоначальником сотериологии — учения об исполнении желаний — и в этом смысле, с большим количеством оговорок, предтечей идеи прогресса.

Образ грядущего совершенного мира просматривается в ряде политических документов эллинизированного Востока. Например, один из авторов Сивиллиных книг (I век до н.э.) обещает, что с падением ненавистного Рима: «Праведный в мире закон воцарится повсюду,/ И время придет исполненья заветных желаний,/ И братство везде в мире наступит, и счастье,/ Мир навсегда покинут нужда, и смуты, и беды,/ Не будет ни войн, ни убийств, ни раздоров» (цит. по [Грант М., 2002, с.251]).

Но подобные исключения — неожиданные прорывы к идее «светлого будущего» — только подтверждают общее правило: образ прогрессивного развития, если и мелькает в мировоспри-

ятии древних людей, то лишь в качестве частных фрагментарных сюжетов.

Христианское время в миропонимании средневекового европейца стало линейным и необратимым, но также в очень ограниченном смысле. Приписание человеческой истории опорных точек (сотворение мира — первородный грех — изгнание из рая — великий потоп — пришествие и смерть Христа — возвращение Мессии и Страшный суд) «распрямляет» временной цикл, однако «при всей своей «векторности» время в христианстве не избавилось от циклизма; коренным образом изменилось лишь его понимание. В самом деле, поскольку время было отделено от вечности, то при рассмотрении земной истории оно предстает перед человеком в виде линейной последовательности, — но та же земная история, взятая в целом, в рамках, образуемых сотворением мира и концом его, представляет собой заверченный цикл: человек и мир возвращаются к творцу, время возвращается в вечность» [ГуревичА.Я., 1984, с. 21].

Наконец, оптимизм Возрождения также ориентирован не на движение вперед, а на возврат к прошлому — от тысячелетней тьмы к светлому миру античности. Причем циклизм по-прежнему выступает на фоне убеждения в стационарности мироздания, и не случайно впоследствии Г. Галилей «противопоставил» аристотелевскому тезису об абсолютной неизменности неба тезис об абсолютной неизменности земной природы.

Но в эпоху Возрождения уже формировалось представление о безотносительном (к человеческой деятельности) течении времени, что многие исследователи связывают с развитием городов, становлением нового стиля и ритма жизни, с новыми экономическими реалиями. Переход от «библейского времени» к «времени купцов» (по выражению Ж. Ле Гоффа [1992]) был, конечно, полон противоречий. Новое ощущение и представление о времени причудливо сочетались с библейской эсхатологией, а любые догадки о поступательном движении истории пробивали себе дорогу в противоборстве с общепринятыми убеждениями в неизменности или неуклонной деградации мироздания.

Предвестником эволюционного мироощущения стала необычайная по дерзости идея Дж. Манетти, отчасти заимствованная у арабских зиндиков (см. раздел 1.1). Напомню, выдающийся итальянский гуманист уже в XV веке осмелился заявить, что,

благодаря исключительной остроте ума, «мир и его красоты, созданные всемогущим Богом, ... были сделаны ими /людьми/ значительно более прекрасными и изящными и с гораздо большим вкусом» (цит. по [Средневековая..., 1994, с. 63]).

Это послужило началом переворота в философско-историческом мышлении, хотя еще указания Ф. Бэкона, Р. Декарта и П. Ферма на возможность приобретать новые знания, вместо того чтобы оглядываться на древних, выглядели чрезвычайно смелыми. В XVII—XVIII веках прогрессисты противопоставляли свои теории «ложной философии», сторонники которой «беспрестанно жаловались на упадок просвещения, когда оно прогрессировало» [Кондорсэ Ж.А., 1936, с. 183]. Не удивительно, что в каждой конкретной области знания исходное истолкование фактических свидетельств эволюции носило пессимистический характер.

Так, когда в начале XVIII века иезуит Ж. Лафито усмотрел в общественном строе первобытных народов низшую ступень, через которую прошло все человечество, его предположение стало антитезой преобладавшему убеждению, что дикари суть выродившиеся потомки Цивилизованных людей. Отсюда следовало, что дикое состояние — перспектива ныне цивилизованных народов, забывающих Бога и движущихся по нисходящей от ушедшего золотого века.

Этот спор между этнографами продолжался, несмотря на самые убедительные данные археологии. Спустя сто лет после Лафито выдающийся английский геолог Ч. Лайель саркастически писал, что если бы теория вырождения была достоверна, то «вместо грубейшей глиняной посуды или кремневых орудий... мы находили бы теперь скульптурные формы, превосходящие по красоте классические произведения Фидия и Праксителя. Мы находили бы погребенные сети железных дорог и электрического телеграфа, из которых лучшие инженеры нашего времени могли бы почерпнуть драгоценные указания. Мы находили бы астрономические инструменты и микроскопы более совершенного устройства, чем те, какие известны в Европе. Мы обнаружили бы и другие указания на такое совершенство в искусствах и науках, какого еще не видел XIX век. Мы нашли бы, что торжество гения и изобретательности было еще более блестящим в те времена, когда образовывались отложения, относимые теперь к бронзовому и железному векам. Напрасно напругали бы мы свое воображение, чтобы угадать возможное

употребление и значение находок, дошедших до нас от того периода: это могли бы быть машины для передвижения по воздуху, для исследования глубины океана, для решения арифметических задач, идущих дальше потребностей или даже понимания нынешних математиков» (цит. по [Тэйлор Э., 1939, с. 34–35]).

Приведа эту длинную и яркую цитату (удивительное предвосхищение технических достижений XX века!), Э. Тэйлор посвятил еще немало страниц своей книги, написанной во второй половине XIX века, полемике с «общераспространенной теорией вырождения». При этом автор привел массу аргументов из области этнографии, археологии и даже психологии, но счел их все же недостаточными для окончательного решения спора.

Сходным образом развивались события и в науке о живом. Первые же несомненные свидетельства существования в прежних геологических эпохах отсутствующих ныне видов были истолкованы основателем палеонтологии Ж. Кювье как доказательство уменьшающегося многообразия фауны. Согласно его теории, обитатели тех или иных регионов Земли погибали в силу периодических катаклизмов, уступая место популяциям, которые выживали в других регионах. Часто приписываемая Кювье идея «творения» новых видов в действительности представляет собой позднейшее наслоение, привнесенное в теорию катастроф учениками для согласования ее с раскрывшимися впоследствии данными об отсутствии в отдаленных эпохах современных видов (изменчивость видов теорией Кювье отрицалась категорически). Иначе говоря, в биологии, как прежде в антропологии и социологии, фактическое обоснование идеи эволюции опиралось на представление о деградации.¹²

Еще отчетливее подобная последовательность обозначилась в неорганическом естествознании. Впервые эволюционные представления (не считая гораздо более локальной и все же достаточно курьезной для своего времени гипотезы Канта — Лапласа) проникли в физику с открытием второго начала термоди-

¹² Аналогично этому в моделях онтогенеза утвердилось и до сих пор сохраняет влияние «энтропийная» теория А. Вейсмана. Суть ее различных вариаций в том, что будущий организм с первых же дроблений яйцеклетки неуклонно движется к равновесию (смерти) и к моменту рождения подходит уже значительно состарившимся. В подобных концепциях «собственно развитие как процесс, противостоящий старению..., игнорируется» [Аршавский И.А., 1986, с.96].

намики. Конечно, вывод о преобладании разрушительных процессов в эволюции Вселенной и ее грядущей тепловой смерти вытекал из этого открытия с логической неизбежностью, и физический пессимизм, в отличие от биологического или социального, выглядел самоочевидным. Однако при сопоставлении с ситуациями, сложившимися ранее в науках о живой природе и обществе (в том числе гносеологии и этике), история становления эволюционной идеи в физике также выглядит симптоматично.

Приведу для сравнения две выдержки из работ убежденных сторонников теории тепловой смерти (цит. по [Мелюхин С.Т., 1958, с. 29]). «Проследившая время в прошлое, мы находим все большую и большую организацию в мире. Если мы не остановимся раньше, то дойдем до такого момента, когда материя и энергия имели в мире максимум возможной организации» (А. Эддингтон). «...Для вселенной, так же как и для смертных, единственно возможная жизнь заключается в движении к могиле» (Дж. Джине).

Как видим, физическая теория тепловой смерти, биологическая теория катастроф, социальная теория вырождения и т. д. описывают в разных терминах аналогичную картину: в прошлом максимальное многообразие, организация, изобилие, совершенная мораль и мудрость, а в будущем — упадок, дикость, разложение, однообразие, хаос...

Однако парадоксальное обстоятельство состоит в том, что «создатель научной теории неизменности видов Кювье может быть с полным правом назван одним из творцов эволюционной теории» [Берг Р.Л., Ляпунов А.А., 1968, с. 6]. Действительно, настаивая на невозможности изменения каждого отдельного вида, он неопровержимо доказал изменение общего состава биосферы, т.е. ее нестационарность. С еще большим основанием к числу творцов эволюционизма можно отнести Р. Клаузиуса, автора теории тепловой смерти, поскольку идеи деградации и в физике, и в биологии (и в гуманитарных дисциплинах, хотя здесь дело обстоит сложнее) заострены против убеждения в фундаментальной неизменности природы.

После выдающихся достижений физики и астрономии XVII века и вплоть до открытия Клаузиуса (1865 год) такое убеждение в отношении физической природы по большому счету вообще не допускало серьезных альтернатив. В биологии же ситуация была не столь однозначной.

«Существует столько видов, сколько их произвело совершеннейшее существо», причем каждый из них «сотворен таким, каким мы его знаем» — эти утверждения основоположника биологической систематики К. Линнея (цит. по [Лункевич В.В., 1960, с.81]) выражают наиболее ригористический вариант консервативного миропонимания. Насколько оно носило всеобъемлющий характер, можно судить по предложенной Линнеем классификации человеческих рас, где в число неизменных признаков включены не только темперамент и характер, но и особенности общественного устройства и даже тип одежды и украшений.¹³

Утонченный вариант консервативной картины мира представляли собой эволюционные концепции преформистского плана, тесно связанные с учением Г. Лейбница. Последнее предполагало развертывание внутреннего, изначально заложенного содержания каждой монады и в принципе исключало формирование подлинно новых качеств в процессе развития. Хотя сам Лейбниц и его сторонники в биологии признавали филогенетическое совершенствование видов и в отдельных случаях даже ограниченное влияние среды, в целом их взгляды носили вполне отчетливый консервативно-циклический характер. Исключая, вслед за Лейбницем, качественное развитие в природе, биологи представляли эволюцию как последовательное развертывание и свертывание множества неуничтожимых «вложенных зародышей» согласно «единому плану творения».

Свое философское завершение такой способ мышления получил в системе Гегеля, у которого диалектические законы реализуют «развитие» в этимологическом значении термина — развертывание изначально заложенной конечной идеи, причем это касается исключительно социальной истории. Пренебрежительное отрицание качественных изменений в природе было

¹³ Так, американец (индеец) — «холерик, упорен, самодоволен, сводободлюбив; покрыт татуировкой; управляется обычаями». Европейец — «сангвиник, подвижный, остроумный, изобретательный; покрыт плотно прилегающим платьем; управляется законами». Азиат — «меланхолик, упрямый, жестокий, скупой, любящий роскошь; носит широкие платья; управляется верованиями». Африканец — «флегматик, ленивый и равнодушный; мажется жиром; управляется произволом». В.К. Никольский, приведя эту таблицу в предисловии к книге Э. Тэйлора [1939, с.XI], подчеркивает, что «она в XVIII веке представляла собой квинтэссенцию антропологических знаний».

созвучно взглядам большинства естествоиспытателей начала XIX века, хотя на их фоне уже «повсюду зарождались гениальные догадки, предвосхищавшие позднейшую теорию развития» [Энгельс Ф., т. 21, с. 287].

Действительно, естественнонаучные представления даже в XVIII веке не исчерпывались консервативными и преформистскими подходами. Одновременно с Линнеем работал Ж. Бюффон, которого некоторые историки считают основоположником биологического эволюционизма, поскольку он, будучи последователем Лейбница, наиболее активно разрабатывал частные замечания философа об изменчивости видов и ясно выразил мысль о борьбе за существование [Osborn H.F., 1929]. Несколько позже Э. Дарвин (дед Ч. Дарвина) высказал оригинальную идею наследования приобретенных признаков, а Ж. Ламарк — самый последовательный и бескомпромиссный эволюционист додарвиновской эпохи — настолько уверовал в нее, что решился вообще отрицать реальность видов.

Известно, насколько резкую и во многом оправданную оппозицию вызвала эта первая целостная концепция прогрессивной эволюции, однако эволюционную идею продолжали пропагандировать младшие современники Ламарка — И.В. Гете, П. Кабанис, Ж. Сент-Илер и другие. Наконец, убедительные эмпирические доказательства нестационарности биосферы, как уже отмечалось, были получены на рубеже XVIII и XIX веков Кювье (оставшимся до конца жизни яростным противником любого предположения об изменчивости органических форм), его учениками, а также Лайелем и другими геологами и палеонтологами.

Под давлением открывающихся фактов приходилось все далее отодвигать в прошлое срок существования Земли. В XVII веке один ирландский архиепископ вычислил дату возникновения мира: 9 часов утра 26 октября 4004 года до рождения Христа — и эта дата воспроизводилась в англоязычных изданиях Библии. В 1778 году Бюффон поразил воображение современников, заявив, что Вселенная возникла 75 тысяч лет назад, а Лайель писал уже о миллионах лет геологической истории.

Все это болезненно диссонировало с церковным учением, побуждая клерикалов либо предавать науку анафеме, либо прибегать к забавным выкрутасам для согласования фактических данных с Библией. Например: Бог, создавая мир, нарочно зако-

пал в землю костные останки несуществующих животных, которые теперь и обнаруживаются учеными...

К. Лоренц [1994] отмечал, что этимология слова «происходить» (по-латыни — *descendere*), буквально означающего «нисходить, опускаться», не случайна: генеалогическое дерево искони изображалось растущим сверху вниз. «Что древо жизни растет не сверху вниз, а снизу вверх — это, до Дарвина, ускользало от внимания людей» (с. 223).

Дарвиновская теория происхождения видов путем естественного отбора казалась последним или, по меньшей мере, предпоследним этажом в здании биологического эволюционизма. За научными дискуссиями по частным вопросам и идеологическими спорами никто из современников Ч. Дарвина не заметил главного недостатка теории. Ламаркистская идея о выживании самых крупных и сильных особей легко опровергалась фактами (птеродактиль явно крупнее воробья), а компромисс, построенный на заимствованной у Г. Спенсера категории «наиболее приспособленный» (*the fittest*) создавал порочный круг: условием выживания объявлялась приспособленность, а критерием приспособленности — выживание. Вдохновляющий образ необратимого развития от простого к сложному и от худшего к лучшему овладел умами европейцев, находя все новые подтверждения в специальных науках и воплощаясь в доктрины О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса и других философов XIX века.

Сравнивая три модели времени, выработанные традиционной культурой (замкнутая окружность, горизонтальная и наклонная линии), с моделью прогрессивного развития (восходящая линия или спираль), отметим решающее различие между ними.

Все традиционные модели располагают Божество (божества) в функциях демиурга, эталона, контролера, адресата (собеседника) и смыслообразующего центра (оправдание бытия) у основания времени, организуя соответственно мышление и жизнедеятельность человека. Ктотемическим предкам обращается в песне индеец *аше*, повествуя об охотничьих успехах и неудачах. Перед богами отчитывались императоры раннего железного века, велевшие высекать на камне хвастливые сведения о своих «подвигах» (количестве убитых врагов, сожженных и разрушенных городов). И мотивация средневековых монахов-летописцев — не столько информирование будущих поколений, сколько беседа с Господом.

Проникнутые культом предков, традиционные общества остаются по преимуществу «постфигуративными» (в терминологии М. Мид [1988]), т.е. ориентирующими на воспроизводство поведенческих и мыслительных стереотипов. Проблема «отцов и детей» актуализуется лишь в отдельные переломные периоды, но в целом, на длительных исторических отрезках, безусловная доблесть состоит в том, чтобы следовать освященным традициям и авторитетам.

Историки культуры (Ф. Арьес, Л. Демоз и др.) отмечают, что в Средние века детства как социальной и психологической проблемы еще не существовало. Дети носили ту же одежду, что и взрослые, только меньшего размера, играли в те же игры и, главное, выполняли ту же работу (иногда используя уменьшенные копии «взрослых» орудий). На полотнах живописцев младенец отличался от взрослого исключительно размерами тела.

Только в XVII веке произошло «открытие детства»: ребенок из недоразвитого человека стал превращаться в актуально и потенциально *другого*, и не просто другого, а носителя *лучшего будущего*.

Исследователи связывают этот мировоззренческий перелом с протестантизмом и контрреформацией, которые, в свою очередь, послужили «защитой от пессимизма и безнадежности, свойственных позднему Средневековью» [Каплан А.Б., 1991, с.45]. Французский историк Ж. Делюмо добавляет, что прогрессистское мировоззрение, как и протестантизм, стало психологической компенсацией скрытых страхов. Люди поверили, что наступят лучшие времена, и это способствовало преодолению катастрофического мироощущения (см. [Беликова Т., 1998]). Наконец, само это мироощущение (реакцией на которое стала вера в прогресс) было обусловлено затянувшимся социально-экологическим кризисом сельскохозяйственной цивилизации (см. разделы 2.6, 2.7).

Вот когда оказались, наконец, социально востребованными идеи прогресса и разумного переустройства мира, унаследованные от эпохи расцвета арабской культуры и сохраненные европейскими мыслителями. Распространение этих идей послужило механизмом компенсации обострившихся невротических страхов.

Для лучшего понимания этого механизма полезно сопоставить два независимых наблюдения.

Одно из них выражено концепцией *антропологических констант*, развиваемой в немецкой психологии: страх и агрессия в равной мере сопутствуют всем стадиям социально-исторического бытия [Гутгенбюль А., 2000]. Еще одно ценное наблюдение воплощено в *законе поляризации*, сформулированном П.А. Сорокиным [1991]: одни люди реагируют на катастрофу нравственными и психическими патологиями, усилением страха и агрессии, другие — мобилизацией воли, подвижничеством и «альтруистическим перевоплощением» (см. об этом также разделы 2.7, 2.8).

Эти наблюдения хорошо согласуются между собой, так как поляризация обеспечивает сохранение эмоциональной константы при социальных обострениях. В совокупности они помогают понять, почему насыщенность позднего европейского Средневековья бедствиями и фобиями востребовала оптимистические идеи прогресса и гуманизма.

Стержнем психологического переворота в мировоззрении европейцев Нового времени стало *перемещение Божества из прошлого в будущее*: образ сакрального Потомка вытеснил из сознания образ сакрального Предка, вобрав в себя все его функции, вплоть до функции демиурга.¹⁴ Постфигуративные мотивации в культуре быстро замещались префигуративными — ориентацией на творчество и новизну. Референтной группой (эталонном), арбитром в спорах и смыслообразующим адресатом деятельности сделались воображаемые потомки и те из современников (в юности — сверстников), которые казались более «продвинутыми», похожими на людей будущего — носителей абсолютного знания и высшей морали. Только в этом дискурсе мыслимы высказывания типа: «история меня оправдает», «время расставит все по своим местам», «будущие поколения оценят (не простят)», — выражающие мотивационный компас жизненных смыслов и социальной активности.

Интересно, что иерархизация времени сопровождалась выхолащиванием пространственной иерархии: физический мир становился однородным, лишенным координат «верха» и «низа». Дж. Бруно усмотрел главную заслугу Н. Коперника в том, что тот открыл в небе новую звезду под названием Земля. «Мы уже находимся на небе, и потому нам

¹⁴ Будущее в качестве демиурга, на первый взгляд, кажется немислимым парадоксом. Тем не менее, телеологические сюжеты в философии и социологии («детерминация будущим», «физиология человека как ключ к физиологии обезьяны»), а также в новейшем естествознании («сильный вариант» антропного космологического принципа, образ «суператтрактора» в некоторых синергетических моделях), логически завершают тенденцию к сакрализации будущего.

не нужны небеса церковников», — темпераментно доказывал итальянец, и поплатился за это жизнью (цит. по [Шелер М., 1991]). Спустя сотню лет небесная механика И. Ньютона установила полнейшую космическую демократию: все тела в мире подчиняются единым и однозначным законам. Окончательно ушли в прошлое схоластические учения, выстраивавшие все физические тела по чинам и рангам, наподобие сословий феодального общества: «подлая» субстанция стремится к земле, «благородная» к небу, «высший свет» вращается на небесных орбитах [Спекторский Е., 1910].

Итак, после XVII века Бог-предок уступал место Богу-потомку, а после Дарвина генеалогическое дерево развернулось корнями вниз и ветвями потянулось к Солнцу. Юность сделалась «всегда права». В очередной раз воплотилась в жизнь формула истории как «переворачивания перевернутого» [Поршнев Б.Ф., 1974]: животные инстинктивно ориентированы на приоритет потомства, первобытные люди повернулись лицом к предкам, а к потомкам спиной, и только в Новое время потомки стали доминирующей ценностью.

О том, какое социальное значение имел этот переворот, можно судить по следующему наблюдению историков. В Китае все технологические и экономические предпосылки для промышленной революции сложились уже к XIV веку, на четыре с половиной столетия раньше, чем в Англии [Stunkel K.R., 1990], [Lin Yufu J., 1995]. Недоставало двух факторов — одного, так сказать, объективно-отрицательного и одного субъективно-положительного.

Китай, в отличие от Европы, не столкнулся с тяжелым экологическим кризисом позднего Средневековья, и в его духовной культуре не сформировалась идея прогресса. Китайцы не воспринимали технические открытия как движение к новым горизонтам, уподобляющее человека Богу. Не было ощущения перехода от тьмы к свету и восторженного отношения к «революции». Эпохи творческого взлета и застоя рассматривались китайцами как части неизбежного цикла истории, на всем протяжении которой господствующими ценностями оставались не новшества и не предпринимательский успех, а стабильность моральных устоев, властных отношений и ритуалов [Ионов И.Н., 2001].

Иначе говоря, китайцы и европейцы XIV века представляли себе течение времени одинаково, и совсем иначе, чем европейцы конца XVIII века; последние сильнее отличались от своих прямых предков, нежели те — от современных им китайцев.

Сказанное не означает, что у европейцев образ восходящей линии (спирали) полностью вытеснил исконные архетипы. Здесь уместно выделить две стороны вопроса, которые будут подробнее раскрыты в дальнейшем.

С одной стороны, Новое время решительно изменило культурный и интеллектуальный фон. Во второй половине XIX века уже не столько эволюционисты доказывали правомочность своих идей, сколько их оппоненты встраивались в дискурс эволюционной картины мира и, развенчивая ее, апеллировали к арбитражу будущих поколений. С другой стороны, самые горячие энтузиасты прогрессистского мировоззрения в подавляющем большинстве случаев были вынуждены скрепя сердце признать, что восходящая линия рано или поздно упрется в объективные пределы и сменится нисходящей. Иначе говоря, эволюционная картина мира снова и снова увязала в циклическом архетипе.

XX век получил в наследство от XIX века более или менее последовательную картину социальной и биологической эволюции и вместе с тем — ошутимое противоречие между ней и физическим знанием (термодинамикой). «Клаузиус и Дарвин не могут быть оба правы» — это замечание Р. Кэллуа (цит. по [Пригожий И., 1985, с. 99]) выражает суть недоумения, довлевшего над теоретической наукой XX века. Релятивистская космология, а также целый ряд естественнонаучных и междисциплинарных моделей сформировали предпосылки для универсализации эволюционной картины мира. Но это уже происходило на фоне усиливающихся сомнений в ее достоверности...

2.2. Эволюционная идея в социологии и антропологии XX века

*Я думаю — ученые наврала, —
Прокол у них в теории, порез:
Развитие идет не по спирали,
А вкривь и вкось, вразнос, наперерез.*

В.С. Высоцкий

Сама идея прогресса названа детской иллюзией, вместо него проповедуется «реализм», новое слово для окончательной потери веры в человека.

Э. Фромм

Изучая историко-культурную динамику представлений о человеке, его месте в мире, о прошлом и будущем, я то и дело ловлю себя на зависти к европейцам конца XIX — начала XX веков.

Это время расцвета прогрессистской идеологии, которая пропитала своим пьянящим запахом интеллектуальную атмосферу эпохи. Научная (читай: «истинная») картина мира была близка к завершению, открытие стройных и ясных законов природы демонстрировало могущество человеческого мышления. Человек навсегда освобождался от диктата выдуманных богов, своевольных царей и наивных предрассудков. Темное прошлое виделось вереницей заблуждений и несчастий, а светлое будущее — безоблачным царством Разума. Везде — в науке, в экономике, в политике — требовалось только последнее решающее усилие, чтобы достроить до конца здание истины, счастья и справедливости, и совершить это усилие, о котором будут с благодарностью вспоминать потомки, суждено ныне живущим поколениям.

В научной, мемуарной и художественной литературе постоянно встречаем свидетельства готовности к героическому подвигу. Восторженная молодежь сделала вождельной самую смерть во имя грядущего. О том, какое это счастье, говорят на парижских баррикадах персонажи В. Гюго и русские поэты-радикалы (см. [Могильнер М.Б., 1994]). Но оптимистическое видение будущего захватило и людей весьма далеких от революционного радикализма. По рассказам, мой старый, полуграмот-

ный и глубоко провинциальный прадед, поднимая стакан вина, повторял: «Живите, дети, но не так, как мы!» Думаю, от своего деда он ничего подобного услышать не мог...

«Передовые» интеллектуалы знали, конечно, о писаниях «ретроградных» философов, вроде Ж. де Местра или Ф. Ницше, но относились к ним как к архаическим пережиткам. Расчеты же Т. Мальтуса, проведенные в стиле рациональной науки и предрекавшие исчерпание возможностей роста, соответствующие предупреждения Дж. Милля и т. д. третиrowали как досадные недоразумения.

Унаследованные архетипы времени, в противоборстве с которыми формировалась идеология прогресса, были вытеснены на периферию общественного сознания и, казалось, скоро должны кануть в Лету. Между тем они постепенно обогащались новым содержанием и аргументацией, чтобы в последующем, на волне массовых разочарований, вновь составить эффективную концептуальную альтернативу модели поступательного развития¹⁵.

Вот как описывает мировоззренческую коллизию второй четверти века П.А. Сорокин [1991 с. 167]. «Волна смерти, зверства и невежества, захлестнувшая мир в XX цивилизованном, как считалось, столетии, полностью противоречила всем «сладеньким» теориям прогрессивной эволюции столетия от невежества к науке и мудрости, от звероподобного состояния к благородству нравов, от варварства к цивилизации, от «теологической» к «позитивной» стадии развития общества, от тирании к свободе, от нищеты и болезней к неограниченному процветанию и здоровью, от уродства к красоте, от человека — худшего из зверей к сверхчеловеку-полубогу».

К тому времени уже успела оформиться оригинальная теоретическая оппозиция прогрессизму, и истоки ее находятся как раз на родине Сорокина. Поражение в 1825 году декабристов, ратовавших за ускоренное развитие России по европейскому образцу, оставило идейный вакуум, который стал заполняться

¹⁵ Становление национальных мифологий в XIX-XX веках обогатило набор архетипов еще одной моделью, которая не имеет глобального содержания и поэтому не играет существенной роли в нашем исследовании. Это сплав образов могучего предка, могу-чего потомка и хилого, переживающего упадок современника [Розин М.В., 1995]. Идеологически модель выражается тезисами о возрождении былого величия (той или иной) нации.

славянофильскими умонастроениями. Их лейтмотив состоял в том, что Западная культура исчерпала свой потенциал и обречена на угасание, а роль ведущей державы в будущем перейдет к набирающей силу России. Юный гений М. Ю. Лермонтов [1969, с.262] писал в 1836 году: «Не так ли ты, о европейский мир, /Когда-то пламенных мечтателей кумир, /К могиле клонишься бесславной головою, /Измученный в борьбе сомнений и страстей, /Без веры, без надежд...». Другой замечательный поэт, Ф.И. Тютчев, больше известный своим современникам как дипломат и политолог, доказывал, что западноевропейские государства, обескровив друг друга в войнах, со временем превратятся в губернии восходящей Российской империи.

По существу атака на евроцентризм обернулась отторжением идеи исторического прогресса, которая уступила место одному из реанимированных архетипов — образу истории как последовательности замкнутых циклов рождения, расцвета и угасания культур. Систематическое выражение эта мировоззренческая установка получила в работах Н.Я. Данилевского [1991], утверждавшего, что каждое из знаменательных исторических событий имело значение лишь для конкретной цивилизации и оставалось незаметным для прочих цивилизаций. Никогда не было и не будет таких событий, которые могли бы служить вехами общечеловеческой истории, а потому и сама такая история — не более чем фикция, произвольное отождествление судьбы «германо-романского племени» с судьбами всего человечества.

Русский социолог стал одним из инициаторов подхода, названного впоследствии цивилизационным. «Человечество, — писал яркий выразитель данного подхода О. Шпенглер [1983, с. 151], — это зоологическое понятие или пустое слово. Я вижу настоящий спектакль множества мощных культур... имеющих каждая *собственную* идею, *собственные* страсти, *собственную* жизнь, волнения, чувствования, *собственную* смерть». Открытие циклических феноменов и исторических катастроф произвело сильное впечатление на ученых, которые, избавляясь от «линейного наваждения» (П.К. Сорокин), поголовно увлеклись замкнутыми циклами, ритмами, фазами и периодами: в истории, политике, экономике, искусстве, моде...

В США с решительной критикой эволюционных теорий выступил крупный антрополог Ф. Боас, поставивший акцент на уникальности каждого культурного явления и считавший не-

позволительным их сопоставление в рамках каких-либо внешних схем. Боасовская парадигма, называемая часто культурным релятивизмом, доминировала в англо-американской литературе первых десятилетий XX века. Только в 30-е годы В.Г. Чайлд, поддержанный затем (в 40-е годы) Л. Уайтом, Дж. Стюартом и их учениками, дал импульс новой волне увлечения эволюционизмом. В 50-60-е годы на гребне этой волны приобрели популярность работы по социальной эволюции М. Харриса, Р. Карнейро, других антропологов, а также социологов Т. Парсонса и Г. Ленски.

Но в 70-е годы обострение экологических и энергетических проблем вновь стимулировало всплеск антиэволюционных настроений. Подкрепленные расчетами, выполненными по мальтузианским рецептам первыми авторами Римского клуба, они оказались созвучны сходным веяниям в биологии. Акцент на очевидных слабостях классического дарвинизма, на противоречиях между эволюционными представлениями и законами термодинамики и, главное, утвердившаяся в общественном сознании мода на иррационализм превратили рассуждения о «прогессе» или «поступательном развитии» в признак дурного тона. Еще ранее статьи на эту тему стали исключаться из словарей и энциклопедий, а теперь в некоторых штатах США из школьных программ были изъяты и упоминания о биологической эволюции. Если в XIX — начале XX веков оппоненты социального эволюционизма предпочитали циклический и статический архетипы, то на сей раз приоритет был отдан третьему: историческая тенденция виделась как скатывание по наклонной плоскости к предуготованному (законами природы) концу.

Предвестником этого направления мысли еще в 30-е годы был Л. Винарски, сформулировавший «закон социальной энтропии». Он утверждал, что социокультурное выравнивание классов, каст, сословий, рас и индивидов выражает закономерное стремление системы к равновесию, итогом которого и станет коммунизм — неизбежная тепловая смерть общества (см. [История..., 1979]).

Но интерес к эволюционной проблематике полностью не угас. Успехи релятивистской космологии, превратившей Метагалактику в предмет истории, новые концепции происхождения жизни и развития биосферы, археологические находки, касающиеся антропогенеза, открытие общих механизмов само-

организации (синергетика, неравновесная термодинамика) — все это не могло обойти влиянием общественную науку.

В 80—90-е годы опубликованы «волновая» теория исторического развития Э. Тоффлера [Toffler A.I., 1980], блестящая монография эмигрировавшего в США из Европы философа Э. Янча [Jantsch E., 1980], посвященная И. Пригожину и трактующая историю общества как продолжение универсальных негэнтропийных процессов, и еще целый ряд трудов по этой проблематике ([Naroll R., 1983], [Kurian G.T., 1984], [Sanderson S.K., 1990], [Hays D.G., 1993] и др.). В США и в Англии стали выходить периодические издания, посвященные ретроспективе и перспективе социальной эволюции (например, «*Journal of Social and Evolutionary Systems*», «*Free Inquiry*»). А работа историка Э. Джонса [Jones E.L., 1989] меня просто удивила. Он настолько привержен идее прогресса, что даже объявляет стремление к нему отличительной чертой человечества как биологического вида. Вот и говорите после этого, будто рассуждения о прогрессе — удел «советских философов»...

На рубеже веков в англоязычных странах отношение к эволюционным моделям оставалось весьма неоднозначным, подчас полярным. Любопытны результаты опроса среди членов теоретической секции Американской социологической ассоциации, о которых рассказал на одном международном симпозиуме (1998 год) С. Сандерсон. 3% ответили, что имеющиеся теории социальной эволюции достоверны по существу и не заслуживают обрушившейся на них критики; 38% сочли эволюционные представления в целом порочными и отжившими свой век; по мнению 47% опрошенных, они в принципе плодотворны, но требуют существенной коррекции.

В «континентальной» Западной Европе отношение ученых к эволюционным теориям также весьма противоречиво. Здесь на протяжении XX века конкуренция между монадными (шпенглеровскими) и стадийными (неомарксистскими, а также восходящими к М. Веберу и К. Ясперсу) моделями истории, между «историками», ориентированными на конкретику, и «социологами», ищущими глобальных обобщений, между модернистской и постмодернистской парадигмами отягощена пережитыми мировыми войнами, тоталитарными режимами и разочарованиями в человеческом разуме. Дискуссии о стадийности или цикличности исторического процесса приобрели популярность также среди ученых Латинской Америки и Япо-

нии [Ионов И.Н., 1999]. Наконец, здесь уместно повторить (см. вводный очерк), что в 90-х годах на обширном культурном пространстве от Австралии и Латинской Америки до Голландии усилился интерес к исследованию Универсальной (Большой) истории — истории общества в контексте эволюции биосферы и Вселенной.

Следует добавить, что у западноевропейских и российских обществоведов более заметный отклик, чем у американцев и англичан, вызвали новейшие естественнонаучные теории самоорганизации. Вместе с тем отношение отечественных ученых к эволюционному мировоззрению имело собственную логику и динамику.

В начале XX века оригинальные теоретические аргументы против идеи социального прогресса были выдвинуты двумя очень разными мыслителями — ироничным П.А. Сорокиным и темпераментным Н.А. Бердяевым. Первый доказывал, что это сугубо вкусовое понятие исключает вразумительные научные критерии [Сорокин П.А., 1913]¹⁶. Второй — что прогрессистская идеология насквозь безнравственна, ибо усматривает в предыдущих поколениях только средства и ступени к вершине, лишённые самостоятельной ценности, а неведомое поколение счастливых представляет вампирами, пирующими на могилах предков [Бердяев Н.А., 1990].

Но именно России довелось стать плацдармом для испытания прогрессистской идеологии в ее кристаллизованной форме — когда ради достижения обществом искомого состояния всеобщей гармонии и счастья безжалостно уничтожались устоявшиеся социальные и социоприродные структуры.

С победой большевиков концепция исторического восхождения, выпрямленная до сталинской «пятичленки», превратилась в официальную идеологию, которая была подкреплена всей мощью тоталитарной власти. Отдельные критические поползновения против линейного прогрессизма (начиная с 60-х годов) имели место лишь в форме частичных «уточнений» и «усовершенствований». Правда, и в обстановке официоза появлялись содержательные гипотезы и открытия историков, антро-

¹⁶ Вероятно, это была интеллектуальная игра. Полвека спустя автор оценил свое предреволюционное мировоззрение как «прогрессивное оптимистическое» и утверждал, что придерживался тогда «концепции исторического процесса как прогрессивных изменений» [Сорокин П.А., 1991, с.с. 60, 167]. Отсюда и последовавшее разочарование (см. выше).

пологов, психологов [Проблемы... 1968], [Конрад Н.И., 1974], [Поршнев Б.Ф., 1979], [Лурия А.Р., 1974], [Гуревич А.Я., 1984], касающиеся поступательного развития общества...

Развенчание коммунистической идеологии вызвало настоящий бум антиэволюционизма. В начале 90-х годов из зарубежной и дореволюционной литературы тщательно отбирали все, что выдержано в духе активного неприятия прогрессистской идеи. Зарубежными кумирами отечественных ученых сделались Мальтус, Шпенглер, ранний А. Тойнби¹⁷, а в некоторых курсах русской философии остались исключительно фамилии православных мыслителей и славянофилов.

Я не проводил специальных опросов, но из литературы и частных бесед складывалось впечатление, что у тех из российских ученых, которые не следовали ортодоксальному марксизму, упоминание о поступательном развитии вызывало аллергию. При этом «прогресс» понимался самым банальным и, так сказать, докритическим образом — как движение от зла к добру, от несчастья к счастью, от несовершенства к совершенству.

Характерна в данном отношении небольшая, но информационно насыщенная книга историка А.В. Коротаева [1997]. Автор попытался систематизировать все мыслимые факторы социальных изменений, которые он называл *эволюцией*, хотя не только не ставил вопрос о причинах их векторности, преемственности или направленности, но и отверг возможность такой постановки вопроса, поскольку она предполагала бы апелляцию к «прогрессу». А коль скоро однозначных критериев добра и зла, тем более доказательств безусловного превосходства последующих форм социального бытия над предыдущими не обнаружено, значит, рассуждение о поступательном развитии некорректно.

Действительно, серьезного ученого не втянуть в спор о том, счастливее ли парижанин бушмена, лучше ли быть обезьяной, чем инфузорией, и т. д. В истории живого вещества сравниваются уровни сложности биоценозов или клеточной структуры

¹⁷ Тойнби того периода, когда писалось «Постижение истории» — книга, вдруг ставшая в начале 90-х своего рода Библией многих российских обществоведов, — достаточно близок к парадигме Шпенглера. Дальнейшие исследования, как он сообщает в письме советскому историку Н.И. Конраду, «заставили меня почувствовать, что структура даже прошлой человеческой истории менее «монадна», чем я предполагал, когда думал, что открыл действительные «монады» истории в форме цивилизаций» [Письмо..., 1974, с.272].

организмов. В социальной истории также можно сравнивать объективные показатели — см. следующий раздел. Можно даже доказать, что эмоциональная жизнь более сложного общества богаче и разнообразнее.

Но психологами накоплены данные, демонстрирующие поразительное обстоятельство: *долгосрочный баланс* положительных и отрицательных эмоций очень слабо зависит от внешних условий. Поэтому надежда на то, что социальные изменения способны сами по себе сделать людей более (или менее) счастливыми, заведомо иллюзорна. Обратившись же, как предлагал Коротаев, к субъективным оценкам, полученным через опросы, мы и вовсе запутаем дело: у нас уже были поводы отметить (в разделе 1.1; см. также раздел 2.7), что актуальная удовлетворенность решающим образом зависит от динамики потребностей и ожиданий, а обыденные представления о прошлом подвержены разрушительной аберрации.

Из вопросов, возникающих по прочтении этой увлекательной книги, выделю один, причем самый формальный: почему, развенчивая понятие прогресса и вообще отвергая векторность истории, автор не ограничивается понятием изменений, а постоянно использует обязывающее понятие «эволюция»? Этот вопрос может быть адресован многим социологам и антропологам, размышляющим об исторических тенденциях.

Чтобы показать, что это не более чем словесная игра, и чтобы свести ее в дальнейшем к минимуму, приведу краткую этимологическую справку о трех близких по значению терминах — *эволюция, развитие и прогресс*.

Согласно энциклопедическим источникам, термины «эволюция» и «инволюция» первоначально сформировались в военном лексиконе Франции XIV века и означали, соответственно, развертывание войск в боевой порядок и свертывание боевого порядка для движения на марше. В XVIII веке Ш. Бонне ввел термин «эволюция» в эмбриологию — биологическую дисциплину, изучающую последовательные превращения зародыша во взрослый организм, — и сам же распространил его на область филогенеза (историю видов) [Kellog V., 1944]. В конце XIX века это утвердившееся понятие стало применяться также в сочетании с новым понятием биосферы.

Слово «развитие» в современных европейских языках — калька с латинского *evolutio*, сохраняющая (ср. англ. *development*, исп. *desarrollo*) прозрачную аллюзию с образом развертывающегося свертка или клубка («сколько веревочке ни виться, конец ее виден»).

«Прогресс» — слово более древнее. Оно происходит от латинского

pro-gredo, progressus — продвижение, движение вперед — и использовалось позднеримскими авторами также в значении «успех».

Заметим, последний из трех синонимичных терминов изначально менее других телеологически окрашен. Он возник тогда, когда идея направленности мировых событий к конечной цели, по крайней мере, в мышлении средиземноморских народов, была слабо представлена. «Движение вперед» может ассоциироваться просто с ориентацией в пространстве (Дарвин утверждал, что направление биологической эволюции предполагает наличие цели не больше, чем направление ветра), а «успех» — с разрешением конкретной проблемы, что не столь явно предполагает наличие конечного результата, как развертывание свернутого клубка. Но, по иронии судьбы, в Новое время именно термин «прогресс» приобрел наиболее выраженную сотериологическую подоплеку, став наименее нейтральным и как следствие — труднее всего формализуемым.

Избегая спора о словах, я в последующем буду лишь по мере стилистической необходимости использовать три обозначенных понятия. Собственно вопрос состоит в том, возможно ли в калейдоскопе исторических событий, уникальных цивилизационных «монад», круговоротов, прозрений и катастроф на достаточно больших временных интервалах проследить какие-либо сквозные *векторы* изменений. Если нет, то следует признать, что общечеловеческая история — миф, и все события прошлого и настоящего трактовать в парадигмах Шпенглера или Боаса. Если да, то необходимо, во-первых, выделить эти векторы, а во-вторых, исследовать причины и механизмы долгосрочной последовательности (векторности) исторических изменений.

В последующих разделах настоящего очерка приведены детальные аргументы в пользу положительного ответа на этот вопрос: история векторна. Завершая же краткий обзор, отмечу, что в начале XXI века картина прошлого выглядит гораздо более многомерной и вместе с тем запутанной, чем столетием ранее.

Одни в этой связи печалятся о кризисе исторической науки, другие с восторгом говорят о раскрывающемся многоцветье истории. В 2000 году на представительной научной конференции утверждалось: историческая наука переживает благоприятнейший период, творческая фантазия историков раскрепощена и их главный девиз в III тысячелетии — «чтобы не было скучно!». По свидетельству участника конференции [Сапронов М.В., 2001], данный тезис, развернуто изложенный на пленарном заседании, не вызвал возражений ни на секциях, ни в кулуарах.

Автору этих строк уже доводилось писать о том, что в постнеклассической парадигме *истинностная* гносеология уступает место *модельной*: установка на субъектность и взаимодействие знания сопряжена с творческой атмосферой и более терпимыми отношениями в науке, в политике и в обыденной жизни [Назаретян А.П., 1995]. Но за пределами некоторой меры «постмодернистский» подход, как и всякий иной, становится саморазрушительным.

Сосредоточившись исключительно на игровой стороне работы («чтобы не было скучно») и превратив историю в беллетристику, ученые теряют инструментарий для построения реалистических сценариев и эффективных стратегий. Опустевшую нишу быстро займут теологи, астрологи и прочие люди, свято верящие в истинность своих суждений. И произойдет это в эпоху глобальной неустойчивости, когда ценой за дисфункциональные модели и решения может стать... сама история: не научная дисциплина, а четырехмиллиардолетняя эволюция жизни на Земле.

Я думаю, что постмодернизм, оставаясь ориентиром в гносеологии, в онтологическом плане безнадежно устарел. Во всяком случае, если векторность мировой истории будет доказана, то, как бы мы ни относились к данному обстоятельству, станет бессмысленным отрицать возможность эволюционной иерархизации культурных, равно как биологических или физических структур. И мы увидим далее, почему отказ от культурного и прочего релятивизма не упраздняет творческую многомерность научных подходов и идей, но обеспечивает организационные рамки как для роста их разнообразия, так и для исторического самоопределения эпохи.

2.3. Три вектора эволюции: эмпирические обобщения

Эволюция — это изменение от неопределенной бессвязной однородности к определенной взаимосвязанной разнородности путем... дифференциации и интеграции.

Г. Спенсер

С тех пор, как понятие прогресса было, по сути, дискредитировано, никто не осмеливается спросить, что же такое человеческая история в целом.

В. Мак Нейл

Существует только одна культурная реальность, которая не сконструирована произвольно, — общечеловеческая культура, охватывающая все периоды и регионы.

Р. Лоуи

Американский социолог Р. Карнейро, упрекая своего коллегу Дж. Стюарта в чрезмерной робости эволюционных обобщений, сравнил его с человеком, который замечает, что каждая отдельная река течет сверху вниз, но не осмеливается заключить, что все реки текут именно в таком направлении [Carneiro R.L., 1974].

Это остроумное сравнение, добавим от себя, страдает только одним недостатком. То, что вода естественным образом устремляется вниз, признать нетрудно, поскольку это отвечает нашему обыденному опыту и производной от него физической интуиции. Гораздо труднее согласиться, что река истории, в каком-то смысле, направлена противоположно — это входит в видимое противоречие и с повседневными наблюдениями, и с известными со школьных лет законами физики. Тем более что и исторические факты в данном отношении довольно противоречивы.

Попытки прогрессистов представить человеческую историю как последовательное восхождение «от худшего к лучшему» чаще всего оказывались неудачными спекуляциями. Как мы уже видели, нет вразумительных доказательств того, что люди от эпохи к эпохе становились более счастливыми. Кто же полагает, будто они становились все богаче, физически и психически

здоровее, все дольше жили и т. д., тот просто заблуждается, безосновательно перенося тенденции последних двух веков европейской истории на другие эпохи и регионы.

По убеждению известного историка М. Коэна, специально исследовавшего этот вопрос, до середины XIX века не прослеживается чего-либо похожего на прогресс в качестве жизни, питания, в показателях физического здоровья или продолжительности жизни. Тенденция была, скорее, обратной, так что, например, европейские горожане XIV—XVIII веков «относятся к числу самых бедных, голодных, болезненных и короткоживущих людей за всю историю человечества» [Cohen M., 1989, p.141].

Но если индустриальная революция в целом изменила положение к лучшему, то далеко не все эпохальные перевороты прошлого давали столь же явный эффект. Коэн привел убедительные доказательства того, что охотники и собиратели палеолита были здоровее и даже выше ростом, чем их потомки после неолитической революции и вплоть до XX века; у них была выше и ожидаемая продолжительность жизни. Серьезные потери, связанные с переходом от присваивающего к производящему хозяйству, подробно описаны историками и антропологами.

Превосходство кочевников палеолита объясняется оптимальной структурой физической активности и питания, а главное, несравненно меньшей распространенностью инфекционных эпидемий. И дело не только в отсутствии скученности характерной для последующих эпох. В палеолите еще не существовало большинства знакомых нам вирусов, бактерий и микробов — побочных продуктов оседлого скотоводства (в результате мутации микроорганизмов, паразитировавших на животных), которые терроризируют человечество в последние десять тысяч лет [Cohen M., 1989], [Karlen A., 1995], [Diamond!, 1999].

Как тут не усмотреть в естественной первобытной жизни библейскую идиллию, а в неолитической революции — изгнание из рая. Как не возмутиться грехопадением предков, позволивших Дьяволу заманить себя в ловушку оседлости, а затем государства и прочих прелестей современного мира. Может быть, река истории действительно течет, как всякая нормальная река, по наклонной, и историческая эволюция по существу аналогична «эволюции» реки от истока к устью?

Такие вопросы мы далее внимательно рассмотрим. Пока же, во избежание недоразумений, отмечу только, что упомянутая

выше ожидаемая продолжительность жизни не тождественна ее реальной продолжительности. Коэн, которого можно отнести к когорте ученых певцов первобытности, старательно обходит проблему насилия. Но и он, изредка переходя от данных археологии к данным этнографии, вынужден признать, что даже в мирных племенах «обычное количество убийств на душу населения удивительно велико» [Cohen M., 1989, p. 131].

Внимательнее анализируют эту сторону дела профессиональные этнографы и антропологи. Во вступительном очерке цитировались слова Дж. Даймонда о том, что большинство людей в палеолите умирают не естественной смертью, а в результате преднамеренных убийств. К фактическим данным и выводам этой книги [Diamond J., 1999], посвященной сравнительной истории обществ за последние тринадцать тысяч лет и ставшей научным бестселлером, мы еще будем возвращаться.

Ее автор, ученый с большим опытом полевых и теоретических исследований, поставил во главу угла вопрос о том, почему общества на разных континентах развивались неравномерно и пребывают в настоящее время на различных исторических стадиях. При этом он удивительным образом игнорировал вопросы, которые, по логике вещей, должны бы этому предшествовать: почему общества развивались различными темпами *в одном и том же направлении*, и действительно ли дело обстоит именно так? Судя по всему, наличие единого вектора изменений для автора настолько очевидно, что причины данного обстоятельства обсуждаются лишь спорадически и вскользь.

Между тем, как мы видели, далеко не все коллеги Даймонда разделяют его уверенность в наличии единых исторических тенденций. Особенно изобилуют противники эволюционного взгляда именно среди этнографов, которые, увлеченно работая внутри самобытных культурных миров, более других склонны к релятивизму и «постмодернизму» и негативно относятся ко всякой эволюционной иерархии.

Затянувшийся спор о реальности или иллюзорности общечеловеческой истории может быть переведен в новое содержательное русло за счет выделения и систематизации конкретных векторов. Если наличие хотя бы одного «сквозного» вектора будет доказано, то придется признать единство и преемственность истории, а чтобы дискредитировать эволюционно-исторический подход, необходимо доказать, что таких единых векторов не существует.

Я ни в коей мере не настаиваю на том, что выделенные ниже параметры последовательных изменений исчерпывают их реальный спектр. Не исключаю и возможность дальнейшей детализации, как предлагал, например, А.В. Коротаев [1999]. Но научнообсуждение конкретных векторов с принципиального замечания.

На крупномасштабной карте малого участка поверхность Земли не обнаруживает свойства кривизны. Чтобы их зафиксировать, необходимо существенно уменьшить масштаб и расширить обозреваемую площадь. Об этом приходится напоминать в спорах с историками, указывающими на факты попятного движения по любому из выделенных параметров. Векторность, о которой далее пойдет речь, заметна только при очень мелком масштабе и предельном по охвату обзоре исторических процессов. С укрупнением масштаба все линии неизбежно изламываются, общая картина размывается, и остаются лишь частные временные тенденции, экстраполяция которых в прошлое или в будущее чревата недоразумениями.

Более того, чередуя широкоугольный и телескопический объективы с микроскопом, мы то и дело убеждаемся, что имеем дело вообще не с линией (хотя бы и ломаной), а с ветвистым деревом и даже с кустом. Полвека назад каждый археолог, нашедший останки человекоподобного существа, претендовал на открытие искомой «переходной ступени» к современному человеку. Сегодня исследователи антропогенеза уже вынуждены отказаться от красивого образа мраморной лестницы. Под давлением многочисленных фактов признано, что одновременно существовали очень близкие виды, которые постепенно удалялись друг от друга, и большая часть из них, попадая в «эволюционные тупики», не выдерживала конкуренции с более удачливыми соперниками.

С социальными организмами в истории происходило нечто похожее [Коротаев А.В., Бондаренко Д.М., 1999], хотя судьба составляющих их родов и индивидов не всегда была столь же фатальна, как судьба отстававших в развитии ранних гоминид. В современном мире можно наблюдать все многообразие социальных, хозяйственных укладов и соответствующих им культурно-психологических типов, от палеолита до постиндустриализма. А также — все формы эксплуатации исторически отставших регионов, и искренние попытки уберечь первобытные племена с их образом жизни, и стремление фундаменталистов отторг-

нуть чуждое влияние, и усилия целых стран, отдельных семей и личностей прорваться в новую эпоху путем миграции и образования.

Имея в виду указанные обстоятельства, прежде всего, выделим те векторы последовательных глобальных изменений, которые эмпирически прослеживаются на протяжении социальной истории и предыстории и без особого труда могут быть выражены количественно.

Рост технологической мощи. Если мускульная сила человека оставалась в пределах одного порядка, то способность концентрировать и целенаправленно использовать энергию увеличилась (от каменного топора до ядерной боеголовки) на 12—13 порядков [Дружинин В.В., Конторов Д.С., 1983].

Демографический рост. Несмотря на усиливавшуюся мощь орудий, в том числе (и прежде всего) боевых, и периодически обострявшиеся антропогенные кризисы (см. далее), в долгосрочном плане население Земли умножалось. Это происходило настолько последовательно (хотя также с временными отступлениями), что группой математиков разработана модель, отражающая рост населения на протяжении миллиона лет [Капица С.П. и др., 1997]. Как отмечено в разделе 1.2 со ссылкой на расчеты тех же авторов, сегодня численность людей превышает численность диких животных, сравнимых с человеком по размерам тела и по типу питания, на 5 порядков (в 100 тыс. раз!).

Что соответственно увеличивалась плотность населения, можно было бы и не добавлять. Но, поскольку для нас это будет в дальнейшем особенно важно, приведу наглядный расчет. В местах расселения охотников-собирателей-рыболовов их средняя численность составляла 0,5 человек на квадратную милю (1 миля — 1609 м.), у ранних земледельцев — 30 человек, у более развитых земледельцев — 117 человек, а в зонах ирригационного земледелия — 522 человека [Коротяев А.В., 1991]. В современном мегаполисе плотность может «зашкаливать» за 5 тыс. человек на квадратный километр.

Рост организационной сложности. Стадо ранних гоминид, племя верхнего палеолита, племенной союз («вождество») неолита, город-государство древности, империя колониальной эпохи, континентальные политико-экономические структуры и зачатки мирового сообщества — вехи на том пути, который Ф. Хайек [1992] обозначил как расширяющийся порядок человеческого сотрудничества. Первый метод количественного рас-

чета сложности был предложен почти полвека назад Р. Нароллом [Naroll R., 1956], и с тех пор совершенствовался [Carneiro R., 1974], [Chick G., 1998]. Разработана также математическая модель, отражающая положительную зависимость между численностью населения и сложностью организации [Carneiro R., 2000].

Из социологии известно, что численность группы сильно коррелирует со сложностью: крупные образования, не обеспеченные достаточно сложной структурой, становятся неустойчивыми. Поэтому, если в палеолите существовали только группы числом от 5 до 80 человек, то в 1500 году уже 20% людей жили в государствах, а сегодня вне государственных образований остается мизерный процент людей [Diamond J., 1999]. С усложнением социальных структур (которое, как всякое эффективное усложнение, сопряжено с фазами «вторичного упрощения» [Сухотин А.К., 1971] — унификацией несущих подструктур) увеличивались масштаб группового самоопределения, количество формальных и неформальных связей, богатство ролевого репертуара, разнообразие деятельности, образов мира и прочих индивидуальных особенностей.

Расширение и усложнение «человеческой сети» как общий вектор социальной истории на протяжении тысячелетий — лейтмотив новой монографии двух крупных американских историков [McNeill J.R., McNeill W., 2003]. В ней показано, как эта тенденция обусловила последовательный рост энергетической мощи общества и превращение человеческой деятельности в планетарный фактор.

Рост внутреннего разнообразия дополнялся ростом внешнего, межкультурного разнообразия. Археологи и антропологи обращают внимание на то, что, например, культуры шельской эпохи в Европе, Южной Африке и Индостане технологически идентичны, тогда как культура Мустье представлена множеством локальных вариаций, а культуры верхнего палеолита в еще большей степени отличны друг от друга, чем культуры среднего палеолита. В неолите и после него разделение труда и нарастающее внутреннее разнообразие социумов последовательно сокращали вероятность сходства между культурами [Кларк Дж., 1977], [Клягин Н.В., 1987], [Лобок А.М., 1997], [Дерягина М.А., 1999]. Иначе говоря, по мере удаления в прошлое мы обнаруживаем все большее сходство региональных культур — как по материальным орудиям, так и по характеру мышления, деятель-

ности и организации, — хотя анатомически их носители могли различаться между собой (особенно в среднем и нижнем палеолите) сильнее, чем современные человеческие расы.

И еще одно характерное обстоятельство подмечено исследователями. Чем примитивнее культуры и чем менее существенно различие между ними, тем выше чувствительность к минимальным различиям. В первобытном обществе минимальная деталь раскраски тела способна вызвать смертельную вражду.

В Новое время люди, прежде всего европейцы, стали замечать и осознавать наличие глобальных взаимосвязей, сами связи углубились и расширились, и возобладала иллюзия, будто только теперь человечество превращается в единую систему. Но факты свидетельствуют об ином: культура представляла собой планетарную систему изначально, а расхождение культур — типичный процесс эволюционной дифференциации.

В пользу этого тезиса историки-глобалисты приводят и другие доводы, например, совокупность данных, доказывающих наличие общечеловеческого праязыка, который дивергировал в возрастающее множество национальных языков и диалектов [Рулен М., 1991], [Мельничук А.С., 1991], [Алаев Л.Б., 1999-а]. Сильным аргументом служит последовательное сжатие исторического времени, интервалы которого укорачиваются в геометрической прогрессии [Дьяконов И.М., 1994], [Яковец Ю.В., 1997], [Капица С.П., 1999].

По всей вероятности, интенсификация процессов сопряжена с возрастающей сложностью системных связей, но последнее не тождественно возрастанию порядка (как полагали О. Конт и другие социологи).

С усложнением структуры образуются новые параметры порядка и беспорядка, определенности и неопределенности, причем из теории систем следует, что их оптимальное соотношение (с точки зрения эффективного функционирования) более или менее постоянно.

Еще на один факт стоит обратить внимание, чтобы заранее отвести упреки в гипертрофировании современных западных тенденций.

Лидерство в развитии технологий, которое *a posteriori* выстраивается в единую линию, многократно переходило от одного региона Земли к другому. 50 тыс. лет назад оно принадлежало Восточной Африке. От 40 до 25 тыс. лет назад в Австралии

впервые изобрели каменные орудия с полированным лезвием и рукояткой (что в других регионах считается признаком неолита), а также средства передвижения по воде. Передняя Азия и Закавказье стали инициаторами неолитической революции и, тысячелетия спустя, производства железа. В Северной Африке и в Месопотамии появились гончарное дело, стеклоделие и ткачество. Долгое время ведущим производителем технологий был Китай. В первой половине II тысячелетия глобальное значение имели производственные, военные и интеллектуальные технологии арабов... Только Америка никогда раньше не играла лидирующей роли, но и эта «несправедливость» устранена в XX веке.

Даймонд отмечает, что с 8500 года до н.э. по 1450 год н.э. Европа оставалась наименее развитой частью Евразии (за исключением государств античности). Это подтверждают и историко-экономические расчеты. В первые века 2 тысячелетия н.э. обитатели стран Востока вдвое превосходили европейских современников по доходам на душу населения и еще более — по уровню грамотности [Мельянцев В.А., 1996].

Бесспорно, «не будь (европейской) колониальной экспансии, все страны Востока находились бы сегодня практически на уровне едва ли не XV века» [Васильев Л.С., 2000, с.107]. Но напрашивается встречный вопрос: в какой эпохе пребывала бы теперь Западная Европа, если бы в VIII—XIV веках она не стала объектом арабских завоеваний? Напомним, именно арабы принесли с собой элементы того самого мышления, которое принято называть «западным», и спасали от католической церкви античные реликвии, более близкие им, чем средневековым европейцам, а предки нынешних испанцев, итальянцев, французов и немцев самоотверженно отстаивали свой традиционный (не «азиатский» ли?) образ жизни.

Имеются многочисленные примеры того, как технологии, а также формы мышления и социальной организации возникали более или менее независимо в различных регионах, причем это могло происходить почти одновременно или со значительной отсрочкой. Считается, например, что неолитическая революция произошла более или менее независимо в семи регионах Земли; города появились самостоятельно в шести точках Старого Света и в двух точках Америки по довольно схожим сценариям. Последнее, в свою очередь, также сопровождалось совершенно новыми реалиями, включая письменность, нормативные регла-

ментации, дифференциацию деятельностей, расширение групповой идентификации, «линейное» мышление и «книжные» религиозные учения. В религиозных текстах появлялись личные местоимения, которые первоначально относились к богам, но стимулировали индивидуальное человеческое самосознание.

Когда европейцы вплотную столкнулись с американскими цивилизациями, все увиденное так мало походило на прежние сообщения путешественников (из Китая, Индии или Ближнего Востока), что завязался долгий спор о том, являются ли коренные жители Нового Света человеческими существами. Только в 1537 году папской буллой было зафиксировано, что индейцы — люди и среди них можно распространять Христову веру [Егорова А.В., 1994], [Каспэ С.И., 1994]. Но, как показывает исторический анализ, даже при таком несходстве форм социальные процессы на обоих континентах Америки развивались по тем же векторам, что в Евразии и в Северной Африке; коренные американцы пережили с отсрочкой во времени неолитическую революцию и революцию городов и приближались к Осевому времени (см. раздел 2.6). Археологические открытия 40-х годов XX века в Мезоамерике и в Перу продемонстрировали такую удивительную параллельность макроисторических тенденций в Старом и в Новом Свете, что, по свидетельству Р. Карнейро, именно они стимулировали очередной всплеск интереса к социальному эволюционизму.

Прежние летописцы — «великие провинциалы» (А.Я. Гуревич) — были склонны отождествлять историю своего народа со всемирной историей, что и характеризует их мотивацию. Истории же отдельных стран и наций, появившиеся во множестве за последние два века, почти всегда представляют собой идеологические конструкты, подчиненные определенным политическим задачам. Как правило, это образцы той исторической науки, которая, по известному выражению М.Н. Покровского, есть «политика, опрокинутая в прошлое».

Выстраивая истории России, Украины, Армении, Франции, США, или Уганды, ученый обязан понимать, что он более или менее произвольно вычленяет из реального процесса всемирной истории совокупность фактов в соответствии с актуальной геополитической конъюнктурой. Эту позицию «исторического экстремизма» следует понимать не как призыв отказаться от постранных изложений истории, а как рекомендацию сохранять при этом чувство юмора.

Чрезвычайно условным в этом плане представляется и выделение особого класса «техногенных» обществ [Степин В.С., 2000]. Сколь бы ни было однобоким франклиновское определение человека как «животного, производящего орудия» (*tool making animal*), именно наличие технологий служит эмпирическим критерием отличия социума от стада. За редким исключением, все социумы изменялись во времени от меньшей к большей опосредованности отношений с природой, часто заново переоткрывая технологии, давно известные в других регионах. Более того, как мы далее увидим (если для кого-то это все еще новость), техногенные катастрофы — вовсе не «изобретение» Западной цивилизации: они происходили и становились мощным историческим фактором уже тогда, когда не существовало не только машин, бомб и атомных станций, но и металлических орудий.

Реальность трех выделенных векторов подтверждается таким объемом фактического материала, что разночтения возможны только по поводу деталей, формулировок или способов спецификации параметров. Радикальные же возражения оппонентов носят исключительно оценочный характер: «хорошо» или «плохо» то, что технологический потенциал, численность человеческого населения Земли и сложность социальных систем исторически последовательно возрастали? Но это возражения не по существу, так как до сих пор мы ограничивались констатацией.

Следующие два вектора менее очевидны, а потому требуют более детальных обоснований, и вместе с тем их анализ дает повод для осторожных оценочных суждений. Сопоставив их с векторами, выделенными ранее, мы убедимся, что бесспорный, в общем-то, факт роста инструментальных возможностей, количества (и плотности) населения и социальной сложности не столь этически нейтрален, как кажется на первый взгляд.

2.4. Четвертый вектор эволюции: интеллектуальная способность и когнитивная сложность.

Знание есть сила.

Ф.Бэкон

Предсказание, право и мораль имели... общую логическую структуру.

А.Б. Венгеров

Едва ли кто-нибудь возьмется опровергать тот факт, что в исторической ретроспективе человечество становилось технологически могущественнее и многочисленнее, а общество — сложнее и разнообразнее. Но напомним этнографу, влюбленному в первобытность (даже если он знает о предмете только по чужим описаниям), на возможность исторической эволюции интеллекта — и вы рискуете оскорбить его в лучших чувствах.

В ответ вас станут уличать чуть ли не в расизме, примутся рассказывать о необычайной находчивости туземцев и о трудностях их существования, доказывать, что перед задачами, которые они повседневно решают, спасует любой университетский профессор. И по мере того, как ваши темпераментные оппоненты будут увлекаться, их доводы начнут все больше напоминать рассказы приматологов, кинологов и орнитологов о замечательных способностях их подопечных обезьян, собак и птиц. Или восторженного школьного учителя — о талантливых детях...

В культурной антропологии проводится, конечно, и серьезная работа по развенчанию евроцентристских предрассудков (см. об этом [Коул М., Скрибнер С., 1977], [Ember С.А., Ember М., 1999]), которая побуждает эволюционистов тщательнее отрабатывать методы и критичнее оценивать выводы. В 60-е годы на американскую общественность произвели впечатление специально разработанные тесты *IQ* (коэффициент интеллектуальности), по которым аборигены, никогда не соприкасавшиеся с европейским образованием, показывают стабильно лучшие результаты, чем их европейские сверстники. Тем самым высмеивались расовый и классовый снобизм и одновременно была продемонстрирована спекулятивность измерительных проце-

дур, но косвенно наносился удар и по эволюционным представлениям. Сторонники эволюционизма, со своей стороны, заметили, что при большом желании можно придумать и такие поведенческие тесты, по которым шимпанзе даст лучшие показатели интеллекта, чем человек, лиса — чем обезьяна и т. д.

Для опровержения концепции «дологического мышления» (якобы присущего первобытным людям) проводился сопоставительно-лингвистический анализ. Было показано, что в мышлении туземца и современного европейца реализуются одни и те же логические процедуры, а иллюзия алогичности возникает из-за сравнительной бедности первобытного языка.

Например, Л. Леви-Брюль [1930] видел в готовности туземцев называть человека человеком и тигром свидетельство игнорирования ими закона противоречия. Возражение психолингвистов состоит в том, что первобытный язык не содержит лексических средств для обозначения абстрактных свойств типа «смелость», а потому вместо европейского выражения «этот человек смел, как тигр» туземец говорит: «этот человек — тигр» [Оганесян С.Г., 1976]. В современной культуре такой способ выражения характерен для детской речи, а также для поэтической метафоры, которая создает видимость нарушения логических законов за счет перевода на менее аналитический язык.

Приведенная аргументация остроумно демонстрирует наличие внутренней логики в любом человеческом мышлении и даже потенциальную возможность ее «аристотелевской» интерпретации. Но применительно к собственно эволюционной проблематике здесь опять-таки уместно добавить: примерив логические процедуры к поведению сравнительно простых организмов, мы обнаружим, что и их чувственные ориентировки также изоморфны силлогистическому мышлению.

Психолог Б.И. Додонов [1978, с.32] следующим образом интерпретировал этологические наблюдения Н. Тинбергена. Самец рыбки корюшки в период брачного сезона атакует каждого соперника, оказавшегося на его территории. Экспериментально показано, что параметры, по которым идентифицируется самец своего вида, — продолговатая форма и ярко красный цвет нижней части тела (брачный наряд), так что свирепому нападению подвергается любой, в том числе неодушевленный предмет, обладающий данными внешними характеристиками. Додонов отметил, что, хотя в этом поведении нет ни грама интеллектуальности, тем не менее, по своей структуре оно изоморфно решению силлогизма: «Все продолговатые предметы красные снизу — мои враги» (большая посылка); «этот предмет продолговат и красен снизу» (малая посылка); «следовательно, он мой враг» (умозаключение).

Работы, нацеленные на дискредитацию эволюционизма, стимулируют дискуссии и существенные корректировки прямолинейных схем. Вызывает сочувствие и гуманистическая интенция таких работ. Действительно, буквальное отождествление культурно-исторических стадий с возрастными и даже биологическими (Ч. Дарвин, например, считал вымирание «отсталых» народов нормальным проявлением естественного отбора) часто давало повод для расового высокомерия и обоснование политическому насилию. Но многообразный материал, накопленный в гуманитарной и естественной науке, сегодня уже позволяет без гнева и пристрастия разобраться в том, насколько состоятелен историко-эволюционный подход к сфере человеческого интеллекта.

Несколько десятилетий тому назад в антропологии преобладало стремление жестко связывать эволюцию интеллекта гоминид с увеличением головного мозга. В последующем выяснилось, что величина черепной коробки, особенно на поздних стадиях эволюции, не играла столь однозначной роли, как полагали прежде.

Например, у классических европейских неандертальцев объем черепа был в среднем больше, чем у кроманьонцев и у современных людей. Вместе с тем в структуре их мозга, судя по всему, слабее развиты речевые зоны. У питекантропов средняя величина мозга (700–1200 куб. см.) уступает нормальным неантропам (1000—1900 куб. см.), но, как видим, это не касается предельных значений: «головастый» питекантроп имел более массивный мозг, чем французский писатель-интеллектуал Анатоль Франс (1017 куб. см.).

Обобщая факты такого рода, Д. Пилбим [Pilbeam D., 1970] отметил, что различие между видами гоминид определяется не столько количеством, сколько «способами упаковки» одного и того же количества мозговой ткани.

Отметим, что *эффективное* развитие мозга, т.е. такое, которое позволяло выжить в борьбе с конкурентами, сопровождалось увеличением зон абстрактного мышления за счет зон чувственного восприятия; иной путь эволюции через монотонное наращивание мозгового вещества оказался менее продуктивным и потому, в конечном счете, гибельным.

Перестройка нейронных структур в пользу второй сигнальной системы не могла не снижать интенсивность чувственного восприятия, повышая, соответственно, степень его опосредо-

ванности. Судя по всему, уже на стадии антропогенеза одно с лихвой компенсировалось другим: актуализация внебиологического родового опыта посредством совершенствующихся коммуникативных механизмов содержательно обогащала каждый психический акт, включая и его эмоциональную компоненту. Тем самым возрастала способность гоминида выделять себя из внешнего мира, целенаправленно управлять предметами и собственным поведением.

Археологически это представлено сменой технологий и способностей жизнедеятельности. Так, качественное превосходство психических способностей питекантропа над *Homo habilis* проявилось стандартизацией орудий и началом систематического использования огня. Г. В. Чайлд [1957] назвал стандартизированное орудие (ручное рубило) «ископаемой концепцией». Это уже своего рода культурный текст, в котором «воплощена идея, выходящая за пределы не только каждого индивидуального момента, но и каждого отдельного индивида... Воспроизвести образец — значит, знать его, а это знание сохраняется и передается обществом» (с.30). Для психолога важно то, сколь эволюционно беспримерными качествами мышления (абстрагирования), внимания, памяти, волевой и эмоциональной саморегуляции должен обладать субъект, искусственно воспроизводящий предмет по заданному образцу.

Приобщение к огню — столь же явное проявление психологической революции. Не умея добывать огонь, архантропы научились поддерживать костер в одном месте на протяжении тысячелетий (о чем свидетельствует толщина слоев золы). Но естественные свойства огня не позволяют обращаться с ним так, как с другими объектами. О горящем костре надо постоянно помнить, порционно снабжать топливом, обновляя его запас, защищать от дождя и ветра, удерживать в ограниченных пределах. Все это требовало поочередного дежурства, распределения ролей и т. д., т.е. и здесь совершенствование психических функций опосредовалось усложнившимися социально-коммуникативными отношениями [Семенов С.А., 1964].

Столь же очевидно интеллектуальное превосходство палеоантропов над архантропами при сравнении культуры Мустье (составные орудия, «палеолитическая индустрия», шкуры и обувь из выделанной кожи, индивидуальные захоронения) с шельской и ашельской культурами.

Повторю, что все это так или иначе связано с эволюцией моз-

га — изменением его массы и особенно структуры («способа упаковки мозговой ткани»). Но с тех пор, как кроманьонцы одолели своих смертельных врагов неандертальцев и неантропы остались единственными живыми представителями семейства гоминид, их мозг не претерпел существенных морфологических изменений. В литературе упоминаются данные о том, что за последние 25 тыс. лет у всех человеческих рас имел место процесс «эпохальной брахицефализации» — укорочения черепа [Дерягина М.А., 1999], — но неизвестно о какой-либо причинной связи между длиной черепа и умственными способностями.

В самое последнее время обнаружены и специфические социально-исторические факторы, обусловившие модификацию человеческого генофонда (см. раздел 2.5), но также никоим образом не влияющие на умственные способности людей.

Поэтому все сказанное далее касается исключительно культурно-психологических тенденций развития. Я не буду повторять, как заклинание, что это не имеет отношения к генетическому превосходству одних рас над другими, и приводить хрестоматийные сюжеты о туземных младенцах, попавших в европейскую среду и ставших полноценными европейцами. Всякий, кто умеет читать чужие тексты, легко поймет, о чем идет речь...

Бесспорно, есть множество предметных ситуаций, в которых бушмен даст сто очков вперед рафинированному горожанину. Это такая же банальность, как и то, что в своих экологических нишах обезьяна, волк или лягушка действуют, как правило, вполне эффективно («разумно»). Тем не менее, биологи, этологи и зоопсихологи изучают филогенез интеллектуальности и выстраивают иерархию видов животных по их способности к прогнозированию, планированию, ориентации в нестандартной обстановке и обучению, развитие которых демонстрирует возрастающую сложность и автономность психического отражения. В той же парадигме антрополог может сопоставлять человека с другими видами, а культуролог и исторический психолог — сравнивать интеллектуальные качества, присущие типичным представителям различных культур и эпох.

Соотнося способы и продукты жизнедеятельности различных культурно-исторических эпох, мы обнаруживаем не просто отличия в мировосприятии и мышлении (в этом и состоит предмет исторической психологии), но и то, что культурные картины мира обладают различной информационной емкостью.

Добавлю решающее обстоятельство: это качество интеллекта возрастало с такой же исторической последовательностью, как сложность социальной организации, и часто столь же скачкообразно.

Так, неолитическому земледельцу или скотоводу требуется значительно больший по времени охват причинно-следственных связей, чем собирателю и охотнику. Этнографами описано, с каким недоумением первобытные охотники наблюдают действия человека, бросающего в землю пригодное для пищи зерно, кормящего и охраняющего животных, вместо того, чтобы убить и съесть их. Известны и непреодолимые трудности при попытке убедить палеолитическое племя воздержаться от охоты на домашний скот, который разводят европейские колонисты: непосредственный ум аборигена не внимает доводам об отсроченной пользе [Бьерре И., 1963].

Ассоциативные умозаключения, вполне достаточные для присваивающего хозяйства, пронизывают верования, ритуалы и обыденные представления первобытных людей и препятствуют пониманию причинных зависимостей, которые очевидны для взрослого человека в более развитых культурах.

Например, по рассказам путешественников, туземцы не всегда догадываются о причинах деторождения, считая его обычным выделением женского организма, наподобие менструации. Недели, проходящие от зачатия до первых признаков беременности, заполнены множеством событий, и связать причину со следствием на столь длительном временном интервале для первобытного мышления затруднительно. Крупный польско-английский антрополог Б. Малиновски [Malinowski B., 1957, S.250], доказывая туземцам Меланезии, что дети рождаются в результате полового акта, столкнулся с занятым возражением: если бы это было так, то детей рожали бы только красивые женщины, а на самом деле рожают и такие некрасивые, к которым «никакой мужчина не захочет подойти».

Кстати, это один из многочисленных примеров, иллюстрирующих постулат *субъективной рациональности*, принятый психологами и психотерапевтами рационалистического направления: всякое мышление реализует процедуры «аристотелевской» логики, но с различным мотивационным и информационным наполнением [Петровский В.А., 1975], [Назаретян А.П., 1985]. В данном случае непонимание первобытными племенами механизмов деторождения имеет и «объективно рациональное», приспособительное значение. Оно выхолащивает ценность материнства, тем более отцовства, и тем самым облегчает биологически противоестественное, но регулярное уничтожение собственных («лишних») детей — первичный социальный механизм поддержания демографической и экологической стабильности.

Обоюдные зависимости между сложностью, уровнем опосредованности социоприродных и внутрисоциальных отношений, с одной стороны, и качеством отражательных процессов, с другой стороны, прослеживается и на последующих стадиях исторического развития. Предпосылкой усложнения социальной организации становится способность носителей культуры более масштабно отражать отсроченную связь причин со следствиями, действия с вознаграждением (наказанием), «держат цель», контролировать эмоции, планомерно осуществлять долгосрочную программу, а также идентифицировать себя с более обширными социальными группами. В свою очередь, усложнившаяся социальная структура делает обыденной нормой способность превосходить отдаленные последствия, ориентироваться на отсроченные вознаграждения, перестраивая соответственно возросшему масштабу отражения ценности, мотивы и практические предпочтения. Механизм этой исторической взаимозависимости раскрыт в классической книге М. Вебера [1990].

Многолетние исследования психологов, принадлежащих к культурно-исторической школе Л.С. Выготского, показывают, что механизмы отражения эволюционировали в сторону возрастающего орудийного и знакового опосредования [Коул М., 1997]. В других научных школах собраны факты, демонстрирующие вторичные проявления этой исторической тенденции: внутренне усложняясь, психика, как всякая система, становилась более устойчивой по отношению к непосредственным факторам внешней среды.

3. Фрейд [1998] заметил, что духовный мир первобытности напоминает клиническую картину заболеваний у современного европейца, с навязчивыми идеями, неврозами и страхами. В последующем психологи и историки культуры неоднократно подтверждали это наблюдение: многое из того, что сегодня считается психопатологическими проявлениями, нормативно для более ранних эпох [Поршнева Б.Ф., 1974], [Шемякина О.Д., 1994]. В специальной литературе бытует даже характерный термин «филогенетический инфантилизм». Чрезвычайная возбудимость, аффективность, быстрая смена настроений, сочетание жестокости с чувствительностью (истерики и обмороки при горестном стечении обстоятельств) — все это свойственно еще людям Средневековья [Хейзинга И., 1988], [Арьес Ф., 1992], [Шкуратов В.А., 1994].

Через книгу упоминавшегося ранее американца Л. Демоза [2000] красной нитью проходит мысль о том, что история человечества в психологическом плане представляет собой путь от патологии к здоровью. Хотя такое суждение выглядит излишне безапелляционным, целый ряд историков культуры, психологов и нейрофизиологов приходят к похожему выводу о «сумеречном состоянии сознания» первобытных людей и корректировке психики в процессе исторического развития [Давиденков С.Н., 1949], [Поршнев Б.Ф., 1974], [Pfeifter J.E., 1982], [Розин В.М., 1999], [ГримакЛ.П., 2001]. Это характерная иллюстрация цитированной ранее Поршнева формулы «переворачивание перевернутого»: расстройство нормальной животной психики обеспечило выживание ранних гоминид (см. разделы 2.5-2.7), а дальнейшее развитие культурных кодов замещало на новом витке диалектической спирали утерянные инстинкты.

Интересны также параллели между способами мышления, мировосприятия, эмоционального реагирования, человеческих отношений, даже речевого поведения в современных уголовных группировках и в архаических обществах [Самойлов Л.С., 1990], [Яковенко И.Г., 1994]. Впрочем, это уже, скорее, материал к теме следующего раздела, где обсуждается соотношение интеллектуального развития и ценностных ориентации.

Не делая далеко идущих выводов, следует признать достаточно продуктивным и сравнение психики взрослых представителей ранних исторических эпох с психикой детей более поздней эпохи. Помимо отмеченных выше эмоциональных качеств, хорошо известен изоморфизм архаического и детского мышления — субъектность (любое событие связывается с чьим-то намерением), мифологическая апперцепция (собственные чувства, эмоции принимаются за свойства предмета); сопоставимы этапы интериоризации речи, становления образа «Я» и т. д. Наблюдения такого рода обобщены в форме *социогенетического закона*: подобно тому, как человеческий плод в утробе воспроизводит стадии биологической эволюции, индивидуальное развитие повторяет предыдущее развитие культуры.¹⁸

Думаю, изложенные соображения позволяют предваритель-но обозначить еще один, четвертый вектор исторической эво-

¹⁸ Л.С. Выготский [1960], подходя к формулировке этого закона, ссылался на Х. Вернера, который проводил явную параллель между онтогенезом и историей культуры.

люции — *рост социального и индивидуального интеллекта*. Вместе с тем, во избежание недоразумений, следует уточнить некоторые детали.

Психологи, сопоставляя характеристики мышления ребенка и взрослого, ученика и профессионала, среднего носителя первобытной, неолитической и городской культур и т. д., различают интеллектуальные способности, интеллектуальную активность и когнитивную сложность. Между этими характеристиками имеются корреляции и зависимости (иначе не было бы ни индивидуального, ни исторического роста), но они не сводятся одна к другой.

Различие наглядно иллюстрирует пример шахматной партии между гроссмейстером и разрядником. Как показали специальные наблюдения (Н.В. Крогиус), первый гарантированно выигрывает у второго не за счет большей интеллектуальной активности и, возможно, не за счет лучших способностей — молодой шахматист может со временем и превзойти своего нынешнего соперника, — а за счет того, что оперирует *более крупными информационными блоками*. Там, где малоопытный игрок вынужден просчитывать массу деталей, ходов и ответов, гроссмейстер «интуитивно» видит ситуацию, причем часто интуиция проявляется через механизм эстетических предпочтений. Динамический образ ситуации аккумулирует опыт поколений шахматных мастеров, освоенный через большой индивидуальный опыт. Результаты грандиозной умственной работы «в снятом виде» присутствуют при оценке обстановки, прогнозировании и принятии решений, даже если квалифицированный шахматист осуществляет эти операции полуавтоматически.

Укрупнение информационных блоков обеспечивается механизмами семантических связей. Установлено, например, что кратковременная память удерживает 7+2 элементов, причем это нормативное количество неизменно при предъявлении букв или слов. Но при фиксированной методике расчета 7 слов, очевидно, содержат больше информации, чем 7 букв. Далее, вместо слов можно предъявлять короткие фразы, описывающие предметные образы, или каждое предложение (слово) может представлять хорошо известное испытуемому художественное произведение; специальная тренировка позволяет задействовать широкие ассоциативные отношения (мнемотехника) и т. д. Хотя элементный состав краткосрочной памяти ограничен, ее информационный объем способен возрастать в очень широком диапазоне.

Еще большим, практически неограниченным диапазоном обладают смысловые блоки долговременной памяти, в которой осуществля-

ются операции «свертывания», «вторичного упрощения» и иерархического перекодирования информации. Как отмечал американский психолог Г.А. Миллер, выдающийся исследователь когнитивных механизмов, потенциал семантического перекодирования составляет «подлинный источник жизненной силы мыслительного процесса» (цит. по [Солсо Р.Л., 1996, с. 180]).

Процедуры исторического наследования, свертывания информации, вторичного упрощения, иерархического перекодирования реализуются, конечно, не только в развитии шахматного искусства, но и в любой профессиональной деятельности и в обыденном поведении.

Если современный третьеклассник не научился пересказывать прочитанный про себя текст, его подозревают в умственной отсталости. Между тем первые личности, умевшие молча читать и понимать написанное, появились только в Греции VI—V веков до н.э. — изначально письмо предназначено только для чтения вслух — и являлись уникалами [Шкуратов В.А., 1994]. Почти две тысячи лет после того способность читать про себя считали признаком божественного дара (как у Августина), либо колдовства (такая способность служила доводом при вынесении смертного приговора!).

И надо сказать, это действительно была трудная задача, пока не появились пробелы между словами, знаки препинания, красная строка и прочие привычные для нас приспособления. Но с совершенствованием техники письма и обучения чтение про себя превратилось в рутинную процедуру, для овладения которой с возрастом более не требовалось ни гениальных задатков, ни многолетних тренировок. Мы не стали «умнее» или «талантливее», тем не менее, тысячелетия культурного опыта усилили интеллектуальную хватку, чего каждый из нас, как правило, не замечает и не ценит.

Школьники, легко перемножающий в тетради трехзначные числа, не подозревает о том, какие титанические усилия гениальных умов скрыты за каждым его привычным действием. Он едва ли помнит даже о собственных усилиях по овладению уже готовым алгоритмом. Ребенок почти автоматически производит операции, которые несколько столетий назад были чрезвычайно громоздкими и доступными лишь ограниченному кругу самых образованных людей [Сухотин А.К., 1971].

Впрочем, похоже, наши примеры устарели. Как сообщалось в печати, большинству абитуриентов в университеты США уже не под силу разделить 111 на 3 без помощи компьютера; это явное продолжение тенденции, наблюдаемой и в российской школе.

Печально, но приходится допустить, что наши внуки разучатся самостоятельно считать и читать линейный текст. Они освоят еще более опосредованные и продуктивные механизмы переработки информации, но, потеряв связь с электронным «протезом», почувствуют себя такими же беспомощными, как мы сами, оказавшись в джунглях без компаса, рации и ружья. Соответственно, владение навыками самостоятельного чтения или счета может стать для них такой же экзотикой, как для современного горожанина — охота с луком и стрелами или кладка домашней печи.

Так же и сеятель обычно не рефлексирует по поводу того, что брошенное в землю зерно когда-то даст всходы. В его мышлении, привычно отражающем многомесячные причинные связи, представлен набор выработанных культурным опытом аксиом, не требующих каждый раз специальных размышлений. Для сельскохозяйственной деятельности, заведомо более опосредованной, чем присваивающее хозяйство, требуются, соответственно, более сложные когнитивные структуры.

Когнитивная сложность [Kelly G.A., 1955], [Франселла Ф., Баннистер Д., 1987] — величина, определяемая не только интуитивно или внешним наблюдением, но и опытным путем. Она выражает «размерность» семантического пространства, т.е. количество независимых измерений, в которых субъект категоризирует данную предметную область, либо степень дифференцированности, характерную для его мировосприятия вообще.

В.Ф. Петренко [1983], видный представитель культурно-исторической школы в психологии, изучал методом семантического дифференциала оценки сказочных персонажей дошкольниками с различным интеллектуальным развитием. Одному ребенку *хороший* Буратино видится по аналогии *умным, послушным* и т. д.; другой характеризует его как *умного, доброго, но непослушного*. Снежная Королева в восприятии первого ребенка представляет собой «склею» негативных характеристик, второй оценивает ее как *злую, жестокую, но красивую* и т. д. В первом случае сознание одномерно, а с интеллектуальным развитием увеличивается число независимых координат когнитивного образа.

При специальном изучении данного феномена обнаруживается, что, с одной стороны, когнитивная сложность — величина переменная; она положительно зависит от знакомства с данной предметной областью и отрицательно — от силы переживаемого эмоционального

состояния (см. раздел 2.7). С другой стороны, она является относительно устойчивой характеристикой индивида и группы (культуры или субкультуры). Замечено, например, что субъект, обладающий высокой когнитивной сложностью, столкнувшись с диссонантной информацией по поводу периферийной для него предметной области, склонен к разрушению стереотипа и созданию объемного образа, тогда как у когнитивно простого субъекта в аналогичной ситуации стереотип не разрушается, а только меняет модальность на противоположную: безусловно позитивное становится негативным и наоборот [Назаретян А.П., 1986-6], [Петренко В.Ф., 1988].

Когнитивно сложные люди легче понимают чужие мотивы, они более терпимы и вместе с тем более независимы в суждениях, легче переносят ситуации когнитивного диссонанса [Biery J., 1955], [Schrauger S., Alltrocchi J., 1964], [Marcus S., Catina A., 1976], [White C.M., 1977], [Кондратьева А.С., 1979], [Шмелев А.Г., 1983]. Метод построения семантических пространств используется и для изучения политико-психологической динамики. Например, в лонгитюдном исследовании В.Ф. Петренко и О.В. Митиной [1997] показано, как увеличивалась размерность политического сознания россиян с конца 80-х до середины 90-х годов.

Экспериментальная психосемантика пока не применялась в волюционном ракурсе. Для сравнительного исследования ультурно-исторических эпох потребуются дополнительные процедуры: более операциональное определение предмета и оррекция методик, позволяющих сопоставлять языки, текстовые массивы, сохранившиеся от прежних эпох, и интервью с живыми носителями различных культур. Такая работа представляется довольно трудомкой, но она могла бы дать количественную картину исторического возрастания когнитивной сложности.

При этом выяснится, что в отдельных предметных областях образы становились менее диверсифицированными, но за счет механизмов свертывания, вторичного упрощения и иерархических компенсаций (см. раздел 3.3) совокупные показатели сложности индивидуальных картин мира, вероятно, отражат эволюционную тенденцию.

Такое предположение наглядно иллюстрирует сопоставительно-лингвистический анализ. Языки первобытных народов очень богаты наименованиями конкретных предметов и состояний, но относительно бедны обобщающими понятиями. Лексически различаются падающий снег, свежевывавший снег, талый снег и т. д., но отсутствует слово «снег»; различаются летя-

шая, сидящая, поющая птица, но нет слова «птица»¹⁹. Грамматически языки Новой Гвинеи выглядят сложнее английского или китайского за счет того, что в них гораздо слабее выражена иерархическая структура выразительных средств [Diamond J., 1997].

Еще одним косвенным подтверждением сказанного могут служить выводы американских антропологов, изучавших информационную сложность культур: показано, что она сильно коррелирует с логарифмом числа обитателей крупнейшего из поселений и, следовательно, растет пропорционально численности социума [Chick G., 1997]. Правда, эти результаты прямо не касаются когнитивной сложности индивидуальных носителей той или иной культуры. Более существенный довод в пользу тезиса об историческом усложнении когнитивных структур дает анализ механизма творческих решений (см. раздел 3.2), результаты которого показывают, что рост инструментального потенциала так же сопряжен с увеличивающейся емкостью информационной модели, как и усложнение социальной организации.

Но здесь наступает очередь самой решительной антиэволюционной посылки: с развитием инструментального интеллекта, рационального мышления и абстрагирования люди разрушали изначальную гармонию отношений с природой и друг с другом, становились бездушнее и агрессивнее. Исследуя далее пятый и последний из выделенных векторов исторического развития, посмотрим, насколько справедливы подобные суждения.

¹⁹ Из-за отсутствия обобщающих слов и абстрактных обозначений «первобытный человек, пользующийся изобразительным языком, мог мысленно оперировать лишь наглядными единичными образами отдельных предметов, но не мог оперировать ни общими понятиями, ни свойствами в отрыве от предметов, в которых это свойство обнаружено, что, безусловно, ограничивало его мыслительные возможности» [Оганесян С.Г., 1976, с. 69].

2.5. Пятый вектор эволюции: гипотеза техно-гуманитарного баланса

Первая функция, которую выполняла... мораль в истории человечества, состояла в том, чтобы восстановить утраченное равновесие между вооруженностью и врожденным запретом убийства.

К.Лоренц

История — это прогресс нравственных задач. Не свершений, нет, — но задач, которые ставит перед отдельным человеком коллективное могущество человечества, задач все более и более трудных, почти невыполнимых, но которые с грехом пополам все же выполняются (иначе все бы давно развалилось).

Т.С. Померанц

Знание есть добродетель.

Сократ

Работы выдающегося швейцарца Ж. Пиаже и его последователей показали, что имеется «связь между когнитивным и моральным «рядами» развития, причем ведущая роль в сопряженном движении принадлежит когнитивному «ряду»» [Воловикова М.И., Ребеко Т.А., 1990, с. 83]. Независимые кросс-культурные исследования также демонстрируют уменьшающуюся частоту силовых конфликтов по мере взросления детей как в современных, так и в первобытных обществах [Chick G., 1998], [Monroe R.L. et al., 2000].

Вывод о зависимости качества моральной регуляции от интеллекта не вызывал особых возражений до тех пор, пока дело касалось индивидуального роста. Но когда психолог Л. Колберг [Kohlberg L., 1981] попытался примерить концепцию морального развития к истории, даже убежденные сторонники социального эволюционизма стали упрекать автора в бездоказательности [Sanderson S., 1994].

Разбираясь в том, насколько возможны достоверные доказа-

тельства корреляции (или причинной зависимости) между развитием интеллекта и качеством человеческих отношений, самое время вернуться к расчетам и парадоксам, рассказом о которых начался вводный очерк этой книги. Напомню, в долгосрочной исторической тенденции, с ростом убойной мощи орудий и плотности проживания людей, *процент жертв социального насилия от общей численности населения не только не возростал, но и сокращался*. В итоге, при современном оружии, высоком уровне концентрации и массе социальных противоречий, люди (в расчете на единицу популяции) убивают себе подобных реже, чем животные в естественных условиях.

Как отмечалось, указанные обстоятельства контрастируют с модным мифом о человеческой кровожадности и заставляют предположить наличие стабильно действующего, но исторически *переменного* фактора культуры, который компенсирует рост инструментальных возможностей. Что же это за фактор и как он действует? Почему люди, давно имея возможность перебить друг друга и разрушить среду своего обитания, до сих пор этого не сделали, и цивилизация на Земле, пройдя через множество критических фаз, все еще жива?

И еще один, более традиционный вопрос, которые часто задают себе философы [Danielson P., 1998]: отчего нормы морали и справедливости не были уничтожены естественным отбором?

Раскрою маленький секрет: логика нашего изложения в некотором отношении обратна той, по которой развивалось исследование. На самом деле расчеты жертв социального насилия проводятся для верификации следствий гипотезы, построенной на иных эмпирических основаниях.

Исходными, действительно, были вопросы о причинах наступающего кризиса и шансах на дальнейшее сохранение цивилизации. Но, исследуя прецеденты и механизмы обострения антропогенных кризисов в прошлом, я все более удивлялся тому, что общество на протяжении десятков тысяч (а если учесть предысторию, то сотен тысяч) лет демонстрирует столь высокую жизнеспособность, умудряясь противостоять как внешним (природным), так и внутренним колебаниям. Я убеждался, что факт продолжающегося существования цивилизации вовсе не так тривиален, как кажется в силу его очевидности, и не допускает тривиальных объяснений.

Наконец, обобщение многообразного материала культурной антропологии, истории и исторической психологии, так или

иначе касающегося антропогенных кризисов и культурных революций, сложилось в цельную гипотезу. А именно, на всех стадиях социальной жизнедеятельности соблюдается закономерная зависимость между тремя переменными — технологическим потенциалом, качеством выработанных культурой средств регуляции поведения и устойчивостью социума. В самом общем виде зависимость, обозначенная как *закон техно-гуманитарного баланса*, формулируется следующим образом: *чем выше мощь производственных и боевых технологий, тем более совершенные средства культурной регуляции необходимы для сохранения общества.*

Дифференциация двух взаимодополнительных ипостасей культуры — материально-технологической и гуманитарно-регулятивной — восходит, по меньшей мере, к И. Канту [1980]. Различая культуру простых умений и культуру дисциплины, он отметил, что первая способна проложить дорогу злу, если вторая не составит ей надежного противовеса. Эти два параметра называют также инструментальной и гуманитарной культурой, говорят о технологическом и нравственном потенциалах общества, об информационно-энергетической асимметрии интеллекта и т. д. Нам здесь важно, не утопая в терминах, уяснить существо дела.

Обстоятельства жизни грациальных австралопитеков сложились так, что только развитие инструментального интеллекта давало им шанс на сохранение вида [История..., 1983]. Но, «когда изобретение искусственного оружия открыло новые возможности убийства, прежнее равновесие между сравнительно слабыми запретами агрессии и такими же слабыми возможностями убийства оказалось в корне нарушено» [Лоренц К., 1994, с.238].

Иначе говоря, этологический баланс, обеспечивающий относительную безопасность вида, остался в прошлом. Эффективность искусственных средств нападения быстро превзошла эффективность телесных средств защиты и инстинктивных механизмов торможения. Чрезвычайно развившийся интеллект, освобождаясь от природных ограничений, таил в себе новую опасность, но вместе с тем и резервы для совершенствования антиэнтропийных механизмов. Гоминидам удалось выжить, выработав искусственные (надынстинктивные) инструменты коллективной регуляции. Последствием первого в человеческой предыстории «экзистенциального кризиса» стало образование исходных форм протокультуры (см. разделы 2.6, 2.7).

Противоестественная легкость взаимных убийств образовала стержневую проблему человеческой истории и предыстории, которая (проблема) определяла формы социальной самоорганизации, духовной культуры и психологии на протяжении полутора миллионов лет. Существование гоминид (в т. ч. неантропов), лишенное природных гарантий, в значительной мере обеспечивалось адекватностью культурных регуляторов технологическому потенциалу. Закон техно-гуманитарного баланса контролировал процессы исторического отбора, выбраковывая социальные организмы, не сумевшие своевременно адаптироваться к собственной силе. В разделе 2.6 будет показано, что он помогает причинно объяснить не только факты внезапного надлома и распада процветающих обществ, но и столь же загадочные подчас факты прорыва человечества в новые культурно-исторические эпохи.

Хотя закон сформулирован на основании разнородных эмпирических данных, он рассматривается пока как гипотетический. Верификация следствий гипотезы не ограничена сравнительным расчетом насильственных жертв. Еще одно следствие состоит в том, что плотность населения, которую способен выдержать данный социум, пропорциональна гуманитарной зрелости культуры и свидетельствует о количестве успешно преодоленных в прошлом антропогенных кризисов (см. далее).

Проверка, в общем, подтверждает и это предположение, однако в процессе работы было обнаружено неожиданное привходящее обстоятельство, которое относится к сфере не столько культуры, сколько популяционной генетики.

Выяснилось, что взрывообразное уплотнение населения после успешно преодоленных кризисов каждый раз обостряло естественный отбор. С концентрацией человеческой массы активизировались беззетворные микроорганизмы и регулярно вспыхивали эпидемии, после которых вымирали индивиды и семьи, не обладавшие врожденным иммунитетом к определенным болезням. Таким образом, последовательно изменялся генофонд, который у граждан политически более сложных обществ отличается от генофонда их исторических предшественников и современников, живущих в примитивных обществах [Боринская С.А., 2004].

Сказанное имеет отношение к нашей теме постольку, поскольку ограничивает «чистоту эксперимента». Рост плотности населения и организационной сложности оказался связанным не только с совершенствованием механизмов сдерживания социальной агрессии — что следует из гипотезы техно-гуманитарного баланса, — но также с усиливающейся сопротивляемостью организма биологической агрессии.

(По крайней мере, так происходило до XX века, на протяжении которого интенсивное и экстенсивное развитие антиинфекционных мер запустило обратный процесс: снижение естественной сопротивляемости человеческого организма от поколения к поколению).

Кроме того, разрабатывается аппарат, который, как мы ожидаем, позволит количественно оценивать устойчивость общества в зависимости от технологического потенциала и качества культурной регуляции.

Для построения исходных, сугубо ориентировочных формул мы различаем внутреннюю и внешнюю устойчивость. Первая (*Internal Sustainability, Si*) выражает способность социальной системы избегать эндогенных катастроф и исчисляется процентом их жертв от количества населения. Вторая (*External Sustainability, Se*) — способность противостоять колебаниям природной и геополитической среды.

Если качество регуляторных механизмов культуры обозначить символом R , а технологический потенциал символом T , то гипотезу техно-гуманитарного баланса можно представить простым отношением:

$$Si = \frac{fi(R)}{2(R)} \quad HI$$

Само собой разумеется, что $T > 0$, поскольку при нулевой технологии мы имеем дело уже не с социумом, а со «стадом», где действуют иные — биологические и зоопсихологические законы. При низком уровне технологий предотвращение антропогенных кризисов обеспечивается примитивными средствами регуляции, что характерно для первобытных племен. Очень устойчивым, вплоть до застойности, может оказаться общество, у которого качество регуляторных механизмов значительно превосходит технологическую мощь. Хрестоматийный пример такого общества — конфуцианский Китай. Наконец, рост величины в знаменателе повышает вероятность антропогенных кризисов, если не компенсируется ростом показателя в числителе.

Уравнение /// представляет собой пока не более чем наглядную схему. Чтобы оно превратилось в *математическую* формулу, позволяющую количественно оценивать устойчивость и предсказывать вероятность антропогенных катастроф, необходимо раскрыть структуры каждого из компонентов, методики и единицы для измерения и сопоставления величин. Так, величина R складывается, по меньшей мере, из трех компонентов: ор-

ганизационной сложности (внутреннего разнообразия) общества, информационной сложности культуры и когнитивной сложности ее среднего носителя (см. раздел 2.4).²⁰

Последняя из названных составляющих наиболее динамична, и, как будет показано в разделе 2.7, именно ситуативное снижение когнитивной сложности под влиянием эмоций способно служить решающим фактором кризисогенного поведения. Добавлю, что внешняя устойчивость, в отличие от внутренней, является положительной функцией технологического потенциала:

$$Se=g(T...) \quad /П/$$

Таким образом, *растущий технологический потенциал делает социальную систему менее зависимой от состояний и колебаний внешней среды, но вместе с тем более чувствительной к состояниям массового и индивидуального сознания.*

Фактические иллюстрации (а по существу, эмпирические основания) гипотезы техно-гуманитарного баланса частично приведены в следующих двух разделах. По всей вероятности, содержание гипотезы будет уточняться в дальнейших исследованиях и дискуссиях. Но совокупность фактов, лежащих в ее основе и уже полученных в процессе верификации, дают возможность выделить пятый вектор эволюции — ***совершенствование культурно-психологических механизмов сдерживания агрессии.*** Без этого все прочие векторы не могли бы образоваться, и сохранение жизнеспособности человечества при возрастающих численности, концентрации и технологическом потенциале было бы невысказано: люди вели бы себя, в общем, так же «биологически рационально», как ведут себя животные и растения, либо давно пали бы жертвой «рациональности» природы.

Из биологии известны сценарии событий, следующих за ростом численности организмов и превышением ими приемлемой нагрузки на среду. «Так, дрожжевой грибок в тесте после вспышки активности отравляет среду жизни собственными выделениями и в следующей фазе переходит в... анабиотическое состояние... В более трагической варианте группа клеток, выскользнувшая из-под пресса иммунной системы организма, развивается в раковую опухоль, губит хозяина и погибает с ним сама. Наконец, если сообществу мышей представляется

²⁰ Предлагается выделить и еще ряд компонентов [Акопян А.С., 2001].

возможность размножаться в ограниченном пространстве садка, то вступают в силу механизмы самоотторжения, вследствие чего плодовитость их снижается и кривая численности стабилизируется на максимальном допустимом уровне» [Арманд А.Д. и др., 1999, с.185].

«Благодаря саморегуляции в лесном сообществе снимается проблема перенаселения. Хотя возможность перенаселения экосистемы заложена в потенциале плодовитости организмов, которая у многих видов исчисляется огромными величинами. Еще Ч. Дарвин подсчитал, что от пары слонов через 750 лет может получиться 19 млн. особей. Однако такого не происходит благодаря наличию саморегуляции численности: как только скорость размножения особей того или иного вида переходит критический уровень, резко повышается их смертность» [Минин А.Л., Семенюк Н.В., 1991, с. 18].

Нормальная психологическая реакция животной популяции на переполнение экологической ниши — ослабление популяционноцентрического, родительского инстинктов и инстинкта самосохранения, соответственно, усиление внутривидовой агрессии и автоагрессии. Возникает так называемый феномен леммингов: сухопутные животные массами гибнут, бросаясь в воду, морские (киты, дельфины) выбрасываются на берег. В сочетании с голодом, снижением плодовитости и активизацией естественных врагов — хищников, болезнетворных организмов — эти факторы быстро сокращают популяцию.

Устойчивость биоценоза обеспечивается кольцами отрицательной обратной связи, колебательными контурами, которые принципиально описываются простой математической моделью «волки — зайцы». С увеличением численности волков на территории сокращается количество зайцев, влекущее за собой вымирание волков, лишившихся кормовой базы (экологический кризис), что, в свою очередь, обуславливает рост заячьего, а затем и волчьего поголовья. Умножение таких колец увеличивает совокупную устойчивость экосистемы. Поэтому в редких случаях кризис может разрешиться своевременным появлением нового вида и дополнительного звена в трофической цепи (рост внутреннего разнообразия).

Например, растения, предоставленные сами себе, постепенно захватывают весь пригодный для жизнедеятельности ареал, и с исчерпанием ресурсов экстенсивного роста конкуренция за пространство, за доступ к источнику света и за минеральные вещества почвы достигает предельного ожесточения. Сдерживающим фактором может стать появление в среде травоядных организмов. Но последние, оказавшись в благоприятной среде и быстро размножаясь, наращивают нагрузку на растительный мир, что рано или поздно опять приведет к экологическому кризису и, возможно, к установлению нового контура обратной связи (больше травоядных — меньше растений — меньше травоядных — больше растений). Далее нагрузка травоядных на растительную среду может регулироваться активностью хищников, у тех появляются еще более сильные враги и т. д.

Это до крайности упрощенная схема, которая, однако, в принципе отражает логику «прогрессивного» преодоления кризисов в природе:

наращивание этажей агрессии, при котором разрушительная активность одних видов регулируется разрушительной активностью по отношению к ним со стороны других видов. Таким образом устанавливалась и самовоспроизводилась «природы вековечная давящая» (Н.А. Заболоцкий).

Развивающаяся культура освободила гоминид от целого ряда биологических и психологических зависимостей и вывела из-под пресса «вековечной давящей». Казалось бы, далее события должны были развиваться по сценарию раковой опухоли: гибель биоценозов вместе с поселившимися в них неподконтрольными «клетками». Часто так и происходило. Но в целом общество продолжало существовать, все глубже вторгаясь в естественный ход событий и подчиняя своим интересам природные циклы. Культура в своей материально-технологической ипостаси обеспечивала растущее население энергетическими ресурсами (пища, тепло и т. д.) и вместе с тем ограничивала возможности природы противопоставить непокорному виду еще более эффективного агрессора. В своей гуманитарно-регулятивной ипостаси она поддерживала внутренний контроль и социально безопасные (в конечном счете — полезные) формы сублимации агрессивности, растущей вследствие уплотнения и обусловленных этим психических напряжений. Гипотеза техно-гуманитарного баланса призвана объяснить сложно опосредованный характер отношений между этими параметрами социокультурного бытия, к чему мы далее вернемся.

Рассматривая конкретный характер механизмов ограничения и сублимации агрессии, важно избегать чрезмерных упрощений, которые имеют место при обсуждении этой проблемы. Соблазнительно, например, свести дело к развитию морали, а мораль трактовать в логике социологического утилитаризма («наибольшее счастье для наибольшего числа людей», по И. Бенхаму). Такой подход подвергался справедливой критике [Сорокин П.А., 1992], которая служила поводом для развенчания эволюционной концепции вообще. В одной из дискуссий указывалось [Коротаев А.В., 1999] и на неосторожное высказывание автора этих строк, пытавшегося объяснить накопленные факты исторически возраставшей способностью к взаимопониманию и компромиссам.

Это требует очень серьезных уточнений в свете, по меньшей мере, одного масштабного обстоятельства «ближневосточно-европейской» истории: с победой мировых религий «эпоха терпимости полностью

уходит в прошлое» [Дьяконов И.М., 1994, с. 70]. Фанатизм и неограниченная жестокость к иноверцам в раннем Средневековье отражает регресс нравственных ценностей в учениях Христа и Магомета по сравнению с великими моралистами Ближнего Востока, Греции, Индии и Китая в апогее Осевого времени. Разрушение храмов («языческих капищ»), избивание камнями статуй, нападения агрессивной толпы на философов — все это не случайно приняло массовый характер в раннехристианскую эпоху [Гаев Г.И., 1986]. Греки называли христиан словом «атеой» (безбожник) не только потому, что те игнорировали Пантеон, но и потому, что происходила реанимация первобытных схем мышления и поведения. «Военный фанатизм христианских и исламских завоеваний, вероятно, не имел прецедентов со времени образования вожеств и особенно государств» [Diamond J., 1999, p. 282]. Соответственно, и обеспеченное новыми религиями феодальное общество «характеризовалось кардинальным отступлением почти от всех элементов развитого римского общества к более архаичным формам» [Парсонс Т., 1997, с.55].

Но, признавая снижение уровня нравственного сознания в христианском и исламском вероучениях, я всегда отмечал [Назаретян А.П., 1994, 1996] и повторю здесь существенный момент. Переход от рациональных к сугубо эмоциональным аргументам, апелляция к примитивным чувствам страха и ожидания награды лишили идею морали исключительной элитарности, сделав ее доступной, хотя и в ущербном виде, массам рабов и варваров, выступивших на историческую сцену, но неспособных представить себе мир без конкретного Хозяина или Отца. Таким образом, спад первой волны Осевого времени способствовал растеканию ее вширь — распространению профанированных достижений гуманитарной мысли и расширению масштаба социальной идентификации: племенное размежевание уступало место Христову «мечу», разделившему людей по конфессиональному признаку. Но гребни волны остались на горизонте, сохраняя ориентир для будущих поколений, которые, через серию малых и больших «ренессансов», вновь восходили к критическому сознанию.

Судя по всему, в ретроспективе человеческих отношений действительно прослеживается возрастающая способность к компромиссам, но, из-за необходимости многочисленных оговорок по этому поводу, целесообразно включить ее в общий контекст.

В действительности, конечно, совершенствование регуляторных механизмов связано и с развитием морального и правового сознания, и со способностью усложняющейся социальной структуры разнообразить каналы «сублимации» агрессии, и с совершенствованием форм внешнего, в том числе полицейского и прочего силового контроля (на чем настаивал А.В. Коротаев [1999]). Но несомненно и то, что государство и его силовые органы всегда действуют в определенном пространстве ценно-

стей, которые и составляют стержень эволюции регуляторных систем (см. [Алаев Л.Б., 1999-6]).

Обсуждая правомерность распространения обнаруженных психологами онтогенетических зависимостей на область социальной истории, мы неизбежно обращаемся к классической философской проблеме «разум — мораль». Сократ, один из первых ее исследователей, поставил знак тождества между знанием и добродетелью. Мудрец, а точнее, любитель мудрости, «философ» (ибо истинная мудрость есть достояние небес и смертным недоступна), способный предвосхищать отдаленные последствия, воздерживается от дурных поступков, которые, давая сиюминутную выгоду, в перспективе обернутся большим злом.

Философу не нужно каждый раз об этом задумываться и просчитывать все возможные события. Не нужны ему и плебейские сказки о божествах, произвольно вмешивающихся в ход событий, наказывающих и награждающих. Опыт приобщения к божественной мудрости представлен в сознании своеобразным агентом — демоном («даймоном»), который в зародыше отбраковывает дурные замыслы как заведомо вредоносные, хотя на первый взгляд (глупцу) они кажутся выгодными. Поэтому философ, заранее зная, «чего не делать», оставляет в пространстве выбора только деяния благие, т. е., в конечном счете, полезные.²¹

Как всякий первооткрыватель, Сократ несколько утрировал обнаруженную зависимость, чем облегчил критику в свой адрес со стороны современников, ближайших и отдаленных потомков. Сегодня психолог мог бы сказать, что великий грек переоценил степень рациональности человеческого выбора, а методолог — что он принял вероятностную (статистическую) закономерность за безусловную (динамическую). Тем не менее, существенная связь между навыком рационального мыш-

²¹ Одновременно с Сократом на противоположном краю цивилизационной ойкумены ту же проблему осмысливал Конфуций. Его концепция не столь бескомпромиссно рационалистична, но, в общем, созвучна сократовской. Место греческого *даймона* в ней занимает чувство *жень* — гуманности, человеколюбия, совести, — которое присуще благо-родному мужу, но не простолюдину, и выражается максимой: «Чего не хочешь себе, того не делай другим». Оба учения элитарны и антимифологичны, так как апеллируют к высоко развитому сознанию и не связывают преимущество благих поступков с потусторонними санкциями. Этим они решительно отличаются как от предшествующих, так и от позднейших религиозно-мифологических аргументов с их лукавым прагматизмом кары и воздаяния.

ления и качеством нравственного самоконтроля была уловлена гениально.

Мы отмечаем, что когнитивная сложность повышает устойчивость психики к внешним стимулам и эмоциональным импульсам и уровень волевого контроля над спонтанными побуждениями. Люди с такими психологическими качествами делают более устойчивой социальную систему. Включить когнитивную сложность в структуру числителя формулы /// позволяет также то, что способность комплексно и в большем временном интервале соотносить причины со следствиями, соответственно, действия с результатами, в конечном счете, сказывается на содержании целеориентаций и на качестве культурных ценностей. Поэтому пятый вектор исторического развития (назовем его ценностным) теснейшим образом сопряжен и с четвертым (интеллектуальным), и с тремя предыдущими: совершенствование механизмов сдерживания агрессии — абсолютно необходимое условие для усложнения организации, последовательного роста технологической мощи, численности и плотности населения.

Раскрывая опосредованную связь между когнитивной сложностью и способностью к ненасильственному поведению, психолог, разумеется, не видит перед собой субъекта, пребывающего в вечном состоянии рефлексии (хотя и такой феномен абулии, т.е. клинического безволия, описан в специальной литературе). Влияние интериоризованного опыта на человеческую деятельность объясняется механизмами *последпроизвольного* (постпроизвольного; послеволевого) *поведения* [Божович Л.И., 1981], [Назаретян А.П., 1986-а].

До сих пор это понятие использовалось только при анализе индивидуального развития, и суть его состоит в следующем. Те поведенческие выборы, которые в детстве проходили стадию мотивационного конфликта и волевого усилия и стабильно поощрялись извне, превращаются в устойчивые программы мышления и практической деятельности. Со временем культурно одобряемое поведение «приобретает видимость непроизвольного, даже импульсивного» [Божович Л.И., 1981, с. 27] и субъективно не переживается как конфликт между (грубо говоря) биологическими и социальными потребностями.

Советские психологи отслеживали этот процесс при воспитании «коллективизма» у школьников: если в младшем возрасте действие в ущерб эгоистическому интересу проходило стадию колебаний и требовало волевого усилия, то в подростковом воз-

расте у тех же детей «коллективистический мотив проявлялся даже в полностью произвольном поведении» [Власова Н.Н., 1974, с. 174]. Обыденное поведение социализованного человека является по преимуществу слепопроизвольным, принимая иной характер в ситуациях, переживаемых как проблемные.

Легко заметить, что это, по сути дела, перевод философских умозрений Сократа на язык конкретной науки. Содержательно богатые смысловые конструкторы, сохраняющие в снятом виде «знание» о возможных последствиях, сразу выбраковывают из паллиативного поля множество сиюминутно выгодных решений. Здесь по-прежнему уместна осторожная аналогия с опытным шахматистом, которому нет нужды перебирать все мыслимые варианты. Его интуиция («дочь информации»), опирающаяся также и на развитое эстетическое чувство, сохраняет в сфере внимания ограниченный набор перспективных ходов и продолжений. Оригинальные творческие решения строятся, как и в других случаях, на «выходе в метасистему» (см. раздел 3.2), но это уже метасистема по отношению к содержательно более богатой умственной модели.

Основной тезис этого и предыдущего разделов состоит в том, что сказанное об индивидуальном развитии с необходимыми уточнениями применимо к развитию историческому. Социальная память, усваиваемая растущей личностью через приобщение к культурным кодам, в снятом виде содержит опыт антропогенных катастроф и закрепляет исторически выработанный комплекс мыслительных и поведенческих программ.

Значит, по мере исторического развития люди все более ориентировались на нормы альтруизма? Вопрос наивный на фоне расхожих рассуждений о потере человека в джунглях городской культуры. Тем не менее, к нему регулярно возвращаются философы, психологи, экономисты и специалисты по теории систем [Heylighen F., Campbell D.T., 1995].

Наши собственные этнографические наблюдения и исторические сопоставления позволяют выделить, по меньшей мере, три параметра, из которых складывается альтруистическая ориентация: интенсивность, объем и стабильность.

Вероятно, *интенсивность* альтруистической установки в долгосрочной ретроспективе снижается. Еще Юлий Цезарь заметил, что дикари в массе своей храбрее цивилизованных легионеров, поскольку не так ценят индивидуальную жизнь и легче жертвуют ею ради коллектива; носители традиционной культуры охотнее жертвуют личными интересами, дабы угодить сородичу или тому, кто квалифицируется как «свой», проявляя более выраженную агрессивность ко всему «чужому».

Вместе с тем исторически увеличиваются *объем* альтруистической идентификации — величина и разнородность группы, к представителям которой личность способна проявлять сочувствие, — а также *стабильность* — показатель гарантированной готовности воздержаться от сиюминутных желаний в интересах общества.

В заключение раздела замечу, что совершенствование механизмов социальной регуляции, выстраивающееся в единый вектор на больших временных дистанциях, при ближайшем рассмотрении представляет собой линию, изломанную в еще большей степени, чем остальные векторы. Изломы во многом связаны с периодическими разбалансировками инструментального и гуманитарного интеллекта, которые, в соответствии с формулой ///, обуславливают критическую потерю социальной устойчивости.

Анализ таких ситуаций и их последствий (см. раздел 2.6) убеждает: вопреки сетованиям философов и моралистов, человечество училось на опыте истории. У нас еще будет возможность убедиться, что решающие послекризисные изменения в общественном сознании становились по большому счету необратимыми и поразительно похожие «ошибки» совершались уже на новом уровне.

Предваряя следующий раздел и продолжая «педагогическую» аллегорию, добавлю к ней еще один штрих. История — жестокая учительница, обладающая, к тому же, своеобразным вкусом. Она не выносит двоечников, безжалостно выставляя их за дверь, но не жалуется и отличников. Последних она отсаживает на задние парты: общества, у которых «мудрость» превышает «силу», впадают в длительную спячку (кто-то заметил, что «счастливые народы не имеют истории»), и выводят их из нее, часто весьма бесцеремонно, ближние или дальние, драматически бодрствующие и потому развивавшиеся соседи. Именно непутевые, но худо-бедно успевающие троечники и служат основным материалом для воспитательной работы Истории...

2.6. Диспропорции в развитии социального интеллекта, антропогенные кризисы и культурные революции

Все великие... нравственные системы возникли и укрепились в катастрофические для какого-либо общества эпохи.

П.А. Сорокин

*...За каждым новым
Разоблачением природы
Идут тысячелетия рабства и насилий,
И жизнь нас учит, как слепых щенят,
И тычет носом долго и упорно
В кровавую, расплзшуюся жижу;
Покамест ненависть врага к врагу
Не сменится взаимным уваженьем,
В конечном счете, только равным силе,
Когда-то сдвинутой с устоев человеком.
Ступени каждой в области познания
Ответствует такая же ступень
Самоотказа...*

М.А. Волошин

В период вьетнамо-американской войны к первобытному охотничьему племени горных кхмеров попали американские карабины. Освоив новое оружие, туземцы за несколько лет истребили фауну, перестреляли друг друга, а оставшиеся в живых спустились с гор и деградировали [Пегов С.А., Пузаченко Ю.Г., 1994].

Этнографическая литература полна примерами подобного рода, которые, с точки зрения обсуждаемой модели, представляют собой артефакты. Процессы форсированны, сжаты во времени, а причины и следствия легко отследить, поскольку социум перескакивает сразу через несколько исторических фаз, оставляя глубокий разрыв между «технологией» и «психологией». В аутентичной истории таких резких перескоков через фазы обычно не происходит, и диспропорции между

уровнями инструментального и гуманитарного интеллекта («силой» и «мудростью») не столь выражены. Поэтому связи причин со следствиями сложны, запутаны и растянуты на века, а в ранней истории и на тысячелетия. Каузальная схема аналогична, но выявить ее можно только при внимательном анализе, обеспеченном соответствующим рабочим инструментарием.

Для этого необходимо, прежде всего, разобраться с красивым греческим словом «кризис» (буквально — поворотный пункт, исход), поскольку оно сделалось в последнее время чересчур популярным и оттого начало терять предметное содержание.

Действительно, в жизни всегда имеют место реальные или надуманные проблемы, частные неудачи и поводы для неудовлетворенности, которые, если сильно захотеть, можно назвать кризисами. Кризис обнаруживают даже в высшем образовании постсоветской России, несмотря на взрывной рост числа вузов и студентов.

Один известный культуролог доказывал, что отношения между обществом и природой, будучи изначально кризисными, остаются таковыми по определению. Подобно тому, как, по версии выдающегося физиолога Г. Селье [1972], сама жизнь представляет собой имманентный стресс, периодически только усиливающийся и относительно ослабевающий.

Сказанное, в общем, справедливо постольку, поскольку устойчивое неравновесие — это такое состояние системы, которое требует непрерывного противодействия уравнивающему давлению среды. Но рано или поздно в существовании неравновесной системы наступает *фаза опасного снижения устойчивости, когда, в силу изменившихся внешних или внутренних условий, наработанные ранее шаблоны жизнедеятельности способны привести к ее разрушению*. Такую фазу мы и выделяем при помощи термина кризис.

Разрешением кризиса становится либо катастрофическая фаза — разрушение системы, — либо смена среды обитания, либо выработка качественно новых шаблонов (механизмов) жизнедеятельности.

Анализ массива ключевых эпизодов социальной и биосферной истории позволил выделить три типа кризисов по соотношению внешних и внутренних причин.

Экзогенные кризисы происходят из-за относительно случайных (не зависящих от системы) событий в среде: колебаний

солнечной, геологической активности, местных или глобальных изменений климата, космических катаклизмов, появления агрессивных кочевников и т. д. *Эндогенные* кризисы обусловлены сменой периодов генетической программы или исчерпанием программы в целом. Наконец, смешанные кризисы *эндо-экзогенного* происхождения вызваны изменениями среды, спровоцированными собственной активностью системы — чаще всего тем, что экстенсивный путь развития зашел в тупик.

Экзогенные кризисы играют немаловажную, хотя, по большей части, косвенную роль в эволюции. Например, в истории биосферы природные катаклизмы приводили к гибели видов животных, достигших особенно крупных размеров за спокойные периоды (согласно правилу Копа), освобождая экологические ниши для новых организмов [Будыко М.И., 1984], [Бердников В.А., 1991]. В социальной истории изменение климатических и прочих условий влекло за собой разрушение и гибель одних обществ (не сумевших из-за чрезмерной специализации перестроить мышление и деятельность сообразно новым обстоятельствам), к расцвету других обществ и обновлению технологий [Гудожник Г.С., Елисеева В.С., 1988].

В целом, однако, кризисы преимущественно внешнего происхождения малопродуктивны: они дают импульс смене структур и функций, которая, как правило, не сопровождается качественными усложнениями.

Роль эндогенных кризисов в эволюции менее ясна. В возрастной психологии давно и продуктивно изучаются кризисы на различных этапах онтогенеза ([Божович Л.И., 1968], [Mussen P. et al, 1979] и др.), но трудно даже представить себе корректную постановку вопроса о влиянии индивидуальных возрастных кризисов (в том числе, генетически запрограммированного старения и смерти) на историю общества. В свое время бытовала модная, но, к сожалению, маловразумительная концепция Л.Н. Гумилева [1993], объяснявшая исторические события всплесками и исчерпанием поступающей из космического пространства энергии этносов (этносы трактовались как закрытые энергетические системы).²²

²² Мы используем введенное этим автором в историческую социологию понятие *пассионарное/ни*, но в несколько ином контексте. Я исхожу из того, что описанный Гумилевым феномен принадлежит сфере информатики, а не энергетике, и является свойством не этносов, а идеологий [Назаретян А.П., 1996].

В биологии издавна существует гипотеза, согласно которой предельный срок жизни вида ограничен конечным числом поколений и обратно пропорционален морфологической сложности [Федоренко Н.П., Реймерс Н.Ф., 1981]. Данная гипотеза могла бы объяснить тот факт, что более 99% существовавших на Земле видов вымерли еще до появления человека [Аллен Дж., Нельсон М., 1991]; разумеется, это имело бы прямое отношение к биосферной сукцессии, а значит, и к глобальной эволюции.

Но гипотеза не популярна среди специалистов, и, во всяком случае, классические концепции эволюции отдавали явный приоритет «ударным» гипотезам, объяснявшим смены видового состава биосферы сугубо внешними факторами: изменением конфигурации материков, горообразованием, климатическими изменениями, переменами химизма среды, падениями метеоритов и т. д. [Давиташвили Л. Ш., 1969].

Наибольший интерес для эволюционной модели представляют кризисы эндо-экзогенного типа, которые вообще игнорировались до появления теории систем и синергетики [Буровский А.В., 2000]. Будучи спровоцированы активностью неравновесной системы, они углубляются при внешне самых благоприятных обстоятельствах и, хотя при обострении сопровождаются столь же катастрофическими событиями, как и экзогенные кризисы, и чаще всего остаются бесплодными, тем не менее, *способны* продуцировать качественные структурные и функциональные изменения.

Синергетический аспект кризисов такого типа мы рассмотрим в разделе 2.8. Здесь же добавим, что, поскольку они обусловлены внутренней логикой развития и чреваты переходами к дальнейшему качественному развитию, их можно также назвать эволюционными. К числу эволюционных (эндо-экзогенных) относятся, конечно, и все антропогенные кризисы.

В этом и в предыдущем разделах приводились простейшие примеры непродуктивных эволюционных кризисов: дрожжевой грибок в тесте, раковые клетки и даже первобытное племя с современным оружием — недостаточно сложные системы, чтобы из тупика экстенсивного развития выйти на стабилизацию или, тем более, на интенсивный путь. Модельной иллюстрацией может служить лабораторный эксперимент в чашке Петри. Несколько бактерий, помещенных в сосуд с питательным бульоном, безудержно размножаются, а затем популяция зады-

хается в собственных экскрементах. Это наглядный образ поведения живого вещества. Пока «инструментальные» возможности превосходят сопротивление среды, популяция захватывает доступное жизненное пространство, подавляя в меру сил всякое противодействие и внешнее разнообразие и стремясь уподобить среду себе [Сухомлинова В.В., 1994].

В естественных условиях обостряющиеся экологические кризисы разрешаются при помощи отработанных за миллиарды лет механизмов динамического уравнивания. Это, в конечном счете, вопреки стремлению каждого из агентов, повышает совокупное разнообразие биоценоза, устойчивость которого сочетается с весьма изменчивыми условиями жизни каждой популяции (колебательные контуры в системе «хищник — жертва» и т. д.).

Культура, в ее материальной и регулятивной ипостасях, изначально ориентирована на освобождение от спонтанных колебаний среды. Человеческие сообщества, в отличие от животных, не ведут себя так прямолинейно, как колония бактерий в чашке Петри, до тех пор, пока роль сопротивляющейся среды выполняют культурные регуляторы.²³ Но нарушение баланса между возросшими технологическими возможностями и прежними механизмами регуляции способно в корне изменить обстановку. По формуле ///, оно снижает внутреннюю устойчивость общества, но надвигающаяся угроза замечается не сразу.

Наоборот, превосходство инструментального интеллекта над гуманитарным влечет за собой всплеск экологической и (или) геополитической агрессии. Недостаточность культурных сдержек делает поведение социума по существу подобным поведению биологической популяции, причем к естественным импульсам экспансии добавляется сугубо человеческий фактор — возрастание потребностей по мере их удовлетворения.

Собственно психологический аспект этого процесса подроб-

²³ Иногда эти регуляторы ужасают наблюдателя из другой культуры, но обеспечивают стабильное пребывание социума в экологической нише. Ранее (в Очерке I) указывалось на характерный для первобытных племен способ сохранения демографической устойчивости — систематическое истребление «лишних» младенцев, особенно женского пола, и кастрация. Кроме того, в некоторых племенах условием для вступления в брак служит убийство или кастрация взрослого иноплеменника и т.д. [Столярова Т.Ф., 1995].

нее рассмотрен в разделе 2.7. Здесь же отмечу, что рано или поздно экстенсивный рост наталкивается на реальную ограниченность ресурсов. Те ресурсы, которые при умеренной эксплуатации естественным образом возобновимы, с усилением эксплуатации требуют для возобновления искусственных затрат: обозначаются признаки антропогенного кризиса. Далее, если необходимые затраты своевременно не предприняты, с исчерпанием ресурсов часто наступает катастрофическая фаза — общество гибнет под обломками собственного декомпенсированного могущества.

Как показывает специальный анализ, большинство племен, государств и цивилизаций в близком и отдаленном прошлом погибли не столько из-за внешних причин, сколько оттого, что сами подорвали природные и организационные основы своего существования. Вторжения же извне, эпидемии, экологические катаклизмы или внутренние беспорядки при этом довершали саморазрушительную активность социального организма, подобно вирусам и раковым клеткам в ослабленном биологическом организме.

В ряде специальных историко-географических книг [Григорьев А.А., 1991], [Global... 2002] собраны данные о печальной судьбе многих обществ, не сумевших предвидеть долгосрочные последствия хозяйственной деятельности. При всех конкретных вариациях события развивались по простой схеме: нарастающее вторжение в биогеоценоз ->разрушение ландшафта ->социальная катастрофа.

Исследователи также отмечают, что разрушение империй часто «наступает в момент расцвета» [Клягин Н.В., 1987], если их экстенсивный рост обгоняет рост внутреннего разнообразия. А.В. Коротаяев [1997], со ссылками на американских авторов, иллюстрировал сходную мысль фактами из истории Османской империи и Империи ацтеков. А. Тойнби привел множество примеров, демонстрирующих обратную зависимость между «военным и социальным прогрессом», и недоумевал по поводу того, что сказанное относится также и к производственным орудиям. «Если проследить развитие сельскохозяйственной техники на общем фоне эллинистической истории, то мы обнаружим, что и здесь рост технических достижений сопровождался упадком цивилизации» [Тойнби А., 1991, с. 231]. В целом же за усилением власти над природой чаще всего следовали «надлом и распад» (с. 335).

В последние годы международный опыт кризисных ситуаций скрупулезно исследуется учеными, принадлежащими к школе социоестественной истории. Если лидер школы Э.С. Кульпин [1996] делает основной акцент на «вызовах» природы и «ответах» общества, то у его последователей интерес переключился на развитие событий по схеме: «вызов» человека -> «ответ» природы -> «ответ» человека [Люри Д.И., 1997], [Пантин В.И., 2001].

Открытые историками факты надлома социальных систем вследствие развития технологий настолько обильны, что часто служат аргументом для отрицания единой общечеловеческой истории, а также для тотального технологического пессимизма.

Но гипотеза техно-гуманитарного баланса вовлекает в сферу внимания не только факты саморазрушения социальных систем. Случаев конструктивного разрешения антропогенных кризисов в истории значительно меньше, зато именно они были вехами в становлении и развитии цивилизации. В ряде случаев, когда кризис охватывал обширный культурно насыщенный регион с высоким уровнем внутреннего разнообразия, его обитателям удавалось найти кардинальный выход из тупика. Каждый раз это обеспечивалось комплексом необратимых социальных и психологических изменений, которые и выстраивались в последовательные эволюционные векторы.

Таких прорывов в истории и предыстории человечества удалось выявить и описать не менее шести. Возможно, в действительности их было больше, но ненамного. Например, Э. Тоффлер [Toffler A1., 1980] выделяет три комплексных исторических революции, Ф. Спир [Spier F., 1996] — четыре; К. Ясперс [1991] усмотрел в прошлом только одну настоящую революцию, но такая «зашоренность» позволила ему впервые подробно описать переворот Осевого времени.

Стоит также отметить, что до сих пор ученые, работающие над данной проблематикой, либо ограничивались описанием революционных перемен, не касаясь их причин и предпосылок, либо оставляли этот вопрос будущим исследователям. Так, Ясперс сформулировал «загадку одновременности»: каким образом столь грандиозные и однотипные культурные трансформации, как переход к Осевому времени, могли произойти за исторически краткое время на огромном географическом пространстве от Иудеи и Греции до Китая?

Предложенная гипотеза позволяет перейти от описания

событий к причинному объяснению эпохальных переломов, обратив внимание на то, что каждому из них предшествовал масштабный антропогенный кризис. Тем самым концептуальная интрига ненасилия становится еще немного понятнее. *Люди пока не истребили друг друга и не разрушили природу благодаря тому, что, проходя через горнило драматических кризисов, они в конечном счете адаптировали свое сознание к растущим технологическим возможностям.*

Здесь уместно вернуться к утверждению известного историка культуры Г.С. Померанца [1991] и к фрагменту из поэмы М.А. Волошина «Путями Каина» [1989], приведенным в эпиграфах к предыдущему и к настоящему разделам. Если бы человечество не выполняло «с грехом пополам» более и более трудные задачи, которые ставит перед ним растущее могущество, то «все бы давно развалилось»; причем каждый раз жизнь жестоко учила людей, «как слепых щенят», мыслить, действовать и относиться друг к другу в соответствии с новообретенной силой...

Пунктирно обозначим переломные эпизоды общечеловеческой истории, когда глобальные (по своему эволюционному значению) антропогенные кризисы завершались прорывом в новые культурные эпохи. Названия всех революций приведены в кавычках, поскольку некоторые из терминов пока не устоялись, хотя все они встречаются в специальной литературе. Подробнее эти эпизоды описаны в работах [Назаретян А.П., 1994, 1996, 2002], [Nazaretyan A.P., 2003], снабженных подробным ссылочным аппаратом, а также в разделе 2.7.

1. «Палеолитическая революция» (0,7—1,2 млн. лет назад) — появление стандартизированных орудий, начало систематического использования огня и, возможно, переход большинства гоминид от преимущественно собирательного к охотничьему образу жизни. Первичное формирование в нижнем палеолите надынстинктивных протокультурных регуляторов, ограничивших агрессию внутри стада за счет переноса ее на «чужаков».

Имеются основания полагать, что решающим фактором стало развившееся у некоторых представителей *Homo habilis* воображение и обусловленные этим невротические страхи. Боязнь мертвецов, которым приписывалась способность мстить обидчику, не только сдерживала агрессию, но и стимулировала противоестественную заботу о беспомощных сородичах.

Искусственное ограничение агрессии служило условием выживания ранних гоминид, столкнувшихся с экзистенциальным кризисом

антропогенеза: как отмечалось в разделе 2.5, убойная сила оружия (галечные отщепы, кости, палки) несоизмерима прочности черепа и, главное, силе инстинктивного торможения. Выжили те немногие стада, в которых сформировались дополнительные, сверхприродные факторы регуляции отношений. В них сохранилось и продолжало развиваться семейство гоминид (см. раздел 3.1).

2. «Верхнепалеолитическая революция», или «культурная революция кроманьонцев» (30-35 тыс. лет назад), — переход от среднего к верхнему палеолиту с окончательным вытеснением неандертальцев. Многократно возросла продуктивность использования каменного сырья, резко увеличилась доля орудий из кости и рога (что дало людям относительную независимость от природных источников кремня); заметно усовершенствовались знаковые системы коммуникации, включая членораздельную речь, появились двухмерные изображения (наскальные рисунки)...

Почему палеоантропы, создавшие развитую культуру Мустье и десятки тысяч лет доминировавшие над своими современниками неантропного типа (протокроманьонцами), оказались теперь не способны им эффективно противостоять? Приходится предположить, что культура Мустье в тот момент переживала тяжелый кризис, хотя содержание его не совсем ясно.

Известны две гипотезы, касающиеся данного вопроса, и обе хорошо согласуются с гипотезой техно-гуманитарного баланса.

Одна построена на том факте, что значительная вариативность материальной культуры неандертальцев сочетается с отсутствием следов «духовной индустрии». Свобода выбора физических действий при недостатке духовных регуляторов (неразвитость анимистического мышления характерного для культур верхнего палеолита) порождает невротический синдром, который проявлялся в асоциальном поведении со «всплесками неуправляемой агрессивной энергии» [Лобок А.М., 1997, с.433]. Еще одна гипотеза [Реймерс Н.Ф., 1990] связывает кризис позднего Мустье с экологией: неандертальцы думали выжигать растительность, увеличивая тем самым продуктивность ландшафтов, но это привело к губительному для них сокращению биоразнообразия.

3. «Неолитическая революция» (X—VIII тыс. до н.э.) — переход от высокозатратного присваивающего (охота, собирательство) к производящему хозяйству (земледелие, скотоводство), сопровождавшийся сменой нормативного геноцида и людоедства зачаточными формами коллективной эксплуатации. Образование вождеств (*chiefdom*), объединивших сельскохозяйственные и «воинственные» племена в многотысячные сообщества, где исключалась исконная враждебность первобытного человека к любому незнакомцу.

Глубокая комплексная перестройка стала ответом на кризис верхнего палеолита, предельно обострившийся из-за небывалого развития

охотничьих технологий, которое привело к истреблению популяций и целых видов животных и ужесточению межплеменной конкуренции. В процессе верхнепалеолитического кризиса предшествовавший ему демографический рост сменился резким сокращением населения, и лишь с освоением сельскохозяйственных приемов население вновь стало быстро расти.

4. «Городская революция» (V—III тыс. до н.э.) — образование крупных человеческих агломераций, строительство ирригационных каналов, появление письменности и первых правовых документов, регламентировавших сосуществование при высокой концентрации и согласованной деятельности сообществ, объединявших сотни тысяч человек.

Последовала за распространением бронзовых орудий, очередным демографическим взрывом и обострением конкуренции за плодородные земли и животноводческие угодья [Illustrated... 1995].

5. «Революция Осевого времени» (середина I тыс. до н.э.): в передовых, но еще слабо связанных между собой обществах за очень короткий промежуток времени появились мыслители, политики и полководцы нового типа — Заратуштра, иудейские пророки, Сократ, Будда, Конфуций, Кир, Ашока, Сунь-цзы и др., — преобразовавшие до неузнаваемости облик человеческой культуры. В ту эпоху авторитарное мифологическое мышление впервые стало вытесняться мышлением критическим, оформились общие представления о добре и зле, о личности как суверенном носителе морального выбора, сформировалась высшая инстанция индивидуального самоконтроля — совесть как альтернатива безраздельно доминировавшей прежде богобоязни. Изменились цели и методы ведения войны: количество жертв перестало служить мерилом боевого мастерства и предметом похвалы, примитивное насилие и террор частично уступали место приемам агентурной разведки и «политической демагогии»...

Осевому времени предшествовало вытеснение дорогостоящего, тяжелого (подвластного лишь физически очень сильному мужчине) и хрупкого бронзового оружия стальным, более дешевым, легким и прочным, что позволило заменить профессиональные армии своего рода народными ополчениями. В результате войны сделались чрезвычайно кровопролитными, а это при сохранении прежних ценностей и норм грозило крахом наиболее развитых обществ. Таким образом, духовная революция Осевого времени стала ответом культуры на опасный разрыв между новообретенной технологической мощью и качеством выработанных предыдущим историческим опытом механизмов сдерживания.

(Указанные стадии, хотя и с хронологическим отставанием, успешно прошли также и изолированно развивавшиеся культуры Америки. Имеются свидетельства того, что появление европейских завоевателей застало передовые общества обоих американских континентов в

состоянии глубокого кризиса и в преддверии духовной революции аналогичной Осевому времени [Семенов С.И., 1995]. Аборигены же другого изолированно развивавшегося континента — Австралии — сохранили образ жизни, культуру и психологию палеолита, не успев пережить верхнепалеолитический кризис, неолитическую революцию и т. д.)

6. «Промышленная революция» — внедрение «шадящих» технологий механизированного производства с более высокой удельной продуктивностью. Сопровождалась и предварялась развитием и распространением идей гуманизма, равенства, демократии, международного и индивидуального права, становлением ценностного отношения к феноменам войны и мира.

Промышленной революции предшествовал затяжной кризис сельскохозяйственной культуры в Западной и Восточной Европе (XII—XVIII века) с бесконтрольным ростом, разрушением экосистем, массовыми смертоносными эпидемиями. Развитие сельскохозяйственных технологий обернулось очередным эволюционным тупиком, как задолго до того — развитие охотничьих технологий.

В свою очередь, становление промышленного производства, повысив энергетическую мощь человеческого усилия, дало новый импульс демографическому росту, экологическим и геополитическим амбициям. Как и прежде, разрешение одного кризиса стало началом дороги к следующему...

7. «Информационная революция»? Уже в середине XX века пришло ощущение того, что планетарная цивилизация приближается к очередному кризису, и обстоятельства его могут быть принципиально описаны схемой техно-гуманитарного дисбаланса. За сто лет энергетическая мощь оружия возросла в миллион раз (!). Интеллект достиг такого операционального могущества, что выработанные в предыдущем историческом опыте средства сдерживания перестали отвечать новым требованиям; носитель разума опять сделался смертельно опасным для самого себя...

Итак, человеческое сознание исторически последовательно («прогрессивно») эволюционировало, восстанавливая нарушенный культурный баланс. Тем любопытнее обстоятельство, которое обнаружено при изучении деятельности, предшествующей обострению кризисов. А именно, предкризисные фазы экстенсивного роста сопровождаются однотипными психическими состояниями, процессами и механизмами, которые *во многом инвариантны по отношению к культурно-историческим особенностям населения.*

Соответственно, как будет показано в следующем разделе, по психологическим симптомам возможно диагностировать приближение кризиса тогда, когда экономические, политические и прочие признаки еще свидетельствуют о растущем социальном благополучии.

2.7. *Homoprae-crisimos* — синдром Предкризисного человека

Перед всяким кризисом непременно бывает бум.

Дж. Сорос

Слова «выход из кризиса» — не окончательный диагноз, а лишь удачно поставленная точка в рассказе о прошедших событиях.

Д. И. Люри

Мы, человечество, находясь в разгаре эволюционного кризиса, вооружены новым фактором эволюции — осознанием этого кризиса.

М. Мид

Рассмотрим пристальнее ряд переломных эпизодов истории из числа тех, которые обозначены в предыдущем разделе и которые можно назвать «оптимистическими трагедиями». Это поможет отследить характерные черты не только предкризисной культуры, но и культуры, сумевшей преодолеть последствия кризисного развития. Сразу оговорюсь, что здесь и далее речь идет только о внутренней логике событий и такая модель не исключает влияние привходящих факторов, вплоть до космических, на биоэнергетику и на ход социальных процессов.

...Начав регулярно использовать искусственные орудия, ранние гоминиды, как отмечалось, в корне нарушили характерный для позвоночных этологический баланс. Доля смертоносных конфликтов возросла настолько, что стала несовместимой с дальнейшим существованием популяций. Стада хабилисов (*Homo habilis*), в которых преобладали особи с нормальной *животной* психикой, вымирали, не справившись с экзистенциальным кризисом. Вероятно, именно из-за этого, по свидетельству археологов, «на полосу, разделяющую животных и человека, много раз вступали, но далеко не всегда ее пересекали» [Клик Ф., 1985, с.32].

В итоге, как показывают исследования на стыке археологии, этнографии, культурной антропологии, психологии и нейрофизиологии [Давиденков С.Н., 1947], [Pfeiffer J.E., 1982], [Розин В.М., 1999], [Гри-мак Л.П., 2001], [Назаретян А.П., 2002], удивительным образом изме-

нилось направление отбора: произошла экспансия истероидных психотиков с повышенной лабильностью, внушаемостью, противостественно развитым воображением и склонностью к невротическим страхам. В немногих стадах, где преобладали особи подобного типа, сформировались первые искусственные (надынстинктивные) механизмы торможения внутривидовой агрессии, адекватные искусственным орудиям убийства. Таким механизмом стала некрофобия — патологическая боязнь покойников, которым приписывалась способность к произвольным действиям.

Невротический страх посмертной мести не только ограничил убийства внутри стада, но также стимулировал биологически нехарактерную заботу об искалеченных и нежизнеспособных сородичах и ритуальное обращение с мертвым телом (первым археологическим свидетельством этого служит вероятное связывание конечности покойника синантропами [Teilhard de Chardin P., Young C.C., 1933]). Судя по всему, он стал исходной клеточкой, из которой в последствии развилось все богатство духовной культуры человечества...

...Тысячелетия верхнего палеолита ознаменованы беспрецедентным развитием «охотничьей автоматике» и дистанционного оружия. Люди научились рыть хитроумные ловчие ямы, изобрели копья, дротики, копьеметалки, лук со стрелами [Семенов С.А., 1964], [История..., 1983]. Это создало весьма благоприятные условия для демографического роста и распространения человечества по территории Земли. Население достигло 4—7 млн. человек [McEvedy C., Jones R., 1978], [Spooks G.D., 1996], не знавших иных способов хозяйствования кроме охоты и собирательства. Поскольку же для стабильного прокорма одного охотника-собирателя требуется территория в среднем 10—20 кв. км, то ресурсы планеты приближались к исчерпанию.

Но дело не только в демографическом росте (который сам становится функцией соотношения технологии и психологии). Археологам открываются следы настоящей охотничьей вакханалии верхнего палеолита. Если природные хищники, в силу установившихся естественных балансов, добывают, прежде всего, больных и ослабленных особей, то оснащенный охотник имел возможность (и желание) убивать самых сильных и красивых животных, причем в количестве, далеко превосходящем биологические потребности. Обнаружены целые «антропогенные» кладбища диких животных, большая часть мяса которых не была использована людьми [Аникович М.В., 1999], [Буровский А.М., 1998], [Малинова Р., Малина Я., 1988].

Жилища из мамонтовых костей строились с превышением конструктивной необходимости, с претензией на то, что теперь называется словом «роскошь». В Сибири на строительство одного жилища расходовались кости от 30 до 40 взрослых мамонтов плюс множество черепов новорожденных мамонят, которые использовались в качестве подпорок и, видимо, в ритуальных целях. В Восточной Европе около жилища иногда находят ямы-кладовые мамонтовых костей с непонятным назначением. Загонная охота приводила к ежегодному поголов-

ному истреблению стад. Сравнительно меньшее значение в тот период имело сокращение лесов вследствие вырубки и применения огня [Минин А.А., Семенюк Н.В., 1991].

По мнению многих палеонтологов, активность человека стала решающим фактором исчезновения с лица Земли мамонтов и целого ряда других животных. Самые первые признаки уничтожения мегафауны фиксируются уже около 50 тыс. лет назад в Африке, но настоящего беспредела этот процесс достиг около 20 тыс. лет назад в Евразии и около 11 тыс. лет назад в Америке [Karlen A., 2001]. Искусные охотники верхнего палеолита впервые проникли на территорию Америки, быстро распространились от Аляски до Огненной Земли, полностью истребив всех крупных животных, в том числе слонов и верблюдов — стада, никогда прежде не встречавшиеся с гоминидами и не выработавшие навыки избегания этих опаснейших хищников [Будыко М.И., 1984]. Истреблением мегафауны сопровождалось и появление людей в Океании и Австралии [Diamond J., 1999]. В общей сложности с лица Земли тогда исчезло до 90% крупных животных, причем каждый из исчезнувших видов успел прежде благополучно пережить не менее 20 глобальных климатических циклов плейстоцена (см. об этом также подраздел 3.1.2).

Заметим, беспощадное уничтожение видов интенсифицировалось с приближением голоцена, т.е. послеледникового периода, который мог бы способствовать расцвету присваивающего хозяйства. На деле же именно в это время присваивающее хозяйство зашло в тупик. Природа не могла бесконечно выдерживать давление со стороны столь бесконтрольного агрессора. Неограниченная эксплуатация ресурсов привела к их истощению, разрушению биоценозов и обострению межплеменной конкуренции. Уместно повторить, что за последние тысячелетия аполитейного палеолита население средних широт планеты сократилось в несколько раз.

Радикальной реакцией на верхнепалеолитический кризис стала неолитическая революция — переход части племен к оседлому земледелию и скотоводству. Люди впервые «приступили к сотрудничеству с природой» [Чайлд Г., 1949], и экологическая ниша человечества значительно углубилась. С развитием сельскохозяйственного производства вместимость территорий возросла на один, а затем на два и три порядка.

Как ранее отмечено, переход от присваивающего к производящему хозяйству был сопряжен с комплексными изменениями в социальных отношениях и психологии. Чтобы бросать в землю пригодное для пищи зерно, кормить и охранять животных, которых можно убить и съесть, необходим значительно больший охват причинно-следственных зависимостей. Возросший информационный объем мышления проявился во всех аспектах жизнедеятельности. Существенно расширились социальные связи и ролевой репертуар. Формы коммуникации усовершенствовались настолько, что некоторые археологи усматривают в «революции символов» главную черту неолита [Cauvin J., 1994].

Отчетливая дифференциация орудий на производственные и боевые способствовала качественно новому типу отношений между сель-

«(хозяйственными и «воинственными» племенами. Воины сообразили, что выгоднее охранять и опекать производителей, регулярно изымая «излишки» продукции, чем истреблять или стгонять их с земли, а производители — что лучше, откупаясь, пользоваться защитой воинов, чем покидать земли или гибнуть в безнадежных сражениях.

Такие формы межплеменного симбиоза и «коллективной эксплуатации» вытесняли геноцид и людоедство палеолита. З. Фрейд [1992] предполагал, что начало пошады к врагу обусловлено процессом порабощения. Действительно, как подчеркнул П. Тейяр де Шарден [1997, с. 168], после неолита даже в самых жестоких войнах «физическое устранение становится скорее исключением или, во всяком случае, второстепенным фактором». Антропологи, изучающие процесс перехода от изолированных племен к племенным союзам (вождествам), не раз отмечали: только тогда «люди впервые в истории научились регулярно встречаться с незнакомцами, не пытаясь их убить» [Diamond J., 1999, p.273].

Яркий штрих к картине неолитической революции добавило специальное исследование популяционных генетиков [Sykes B., 2001]. Вопреки преобладавшему прежде представлению, замена присваивающего хозяйства земледелием и скотоводством произошла не за счет вытеснения или истребления пришедшими со стороны фермерами охотников-собирателей, а за счет добровольного принятия последними новых форм жизнедеятельности. По крайней мере, так было в Европе: большинство современных европейцев являются генетическими потомками кроманьонских охотников, — и, вероятнее всего, Европа не составляет исключения.

Это поистине сенсационное открытие означает, что впервые в истории человечества прогрессивная социальная *идея* победила не путем физического устранения носителей устаревшей идеи (что было обычным для палеолита), а через «смену ментальной матрицы». Межплеменная конкуренция сместилась в «виртуальную» сферу; историческое развитие обогатилось кардинально новым механизмом, с которым изменились основополагающие реалии общественного бытия...

...В XII—XI веках до н.э. на Переднем Востоке, в Закавказье и Восточном Средиземноморье началось производство железа, которое быстро распространилось также на Индию и Китай. Это резко повысило возможности экстенсивного (в том числе демографического) роста.

Бронзовое оружие было дорогим, хрупким и тяжелым. Войны велись небольшими профессиональными армиями, состоявшими из физически очень сильных мужчин; подготовка и вооружение таких армий были делом весьма дорогостоящим. Найти адекватную замену погибшему воину было трудно, поэтому своих берегли, а врагов в бою стремились истребить как можно больше. Пленных убивали, в рабство вводили женщин и детей, а повиновение покоренного населения достигалось методами террора. Статуи местных богов демонстративно разрушались или «увозились в плен» и т. д. [Берзин Э.О., 1984], [История..., 1989].

Стальное оружие оказалось значительно дешевле, прочнее и легче бронзового, что позволило вооружить все мужское население; место профессиональных армий заняли своего рода «народные ополчения». Сочетание же новой технологии с прежними военно-политическими ценностями сделало людей раннего железного века необычайно кровожадными [Берзин Э.О., 1984], [Вигасин А.А., 1994].

Императоры и полководцы той эпохи высекли на камне хвастливые «отчеты» перед своими богами о количестве уничтоженных врагов, разрушенных и сожженных городов, представленные часто в садистских деталях (подборку текстов из [Хрестоматия..., 1980] см. в [Назаретян А.П., 1996, с.77]). Кровопролитность сражений повысилась настолько, что поставила под угрозу сохранение технологически передовых цивилизаций.

Ответом культуры на этот кризис и стал духовный переворот Осевого времени, причины которого оставались загадкой до тех пор, пока мы не соотнесли его с военно-политическим кризисом. На обширном культурно-географическом пространстве религиозные пророки, философы и политики задавали тон напряженной работе общества по переосмыслению всей системы ценностей.

За несколько столетий неузнаваемо преобразился облик культуры. Существенно возросли когнитивная сложность общественного и индивидуального сознания, способность людей к абстрагированию и рефлексии, масштабы родовой идентификации. Мифологическое мышление было впервые потеснено мышлением личностным (критическим). Новая инстанция нравственного самоконтроля — совесть — сделалась альтернативой традиционной богобоязни: мудрец воздерживается от дурных поступков не из страха перед карой всевидящих богов, но оттого, что «знает» о последствиях. Враги учились видеть друг в друге людей, понимать и сочувствовать друг другу. Трагедия Эсхила «Персы» стала первым произведением мировой литературы, где война описывается глазами противников [Ярхо В.Н., 1972], [Ясперс К., 1991], [Назаретян А.П., 1994, 1996].

Эти процессы отчетливо отразились в политических отношениях. Мерилом военного успеха и доблестью стало считаться достижение предельной цели, а не количество жертв. Резко повысилась роль разведывательной информации, а также пропаганды среди войск и населения противника. Складывалась традиция «опеки» царей-победителей над местными богами и жрецами и деклараций о «сожалении» по поводу пролитой крови. Политическая демагогия как средство умиротворения ограничила обычные прежде методы террора. В 539 году до н.э. персидский царь Кир из династии Ахеменидов, захватив Вавилон, обнародовал манифест, в котором сообщалось, что он пришел освободить вавилонян и их богов от их плохого царя Набонида. Гениальное изобретение хитроумного перса скоро приобрело популярность среди полководцев и политиков далеко за пределами Ближнего Востока — в Греции, Индии и Китае...

...Во II тысячелетии н.э. в Европе отчетливо проявились все признаки очередного эволюционного тупика. Развитие сельскохозяйст-

венных технологий стимулировало демографический рост на протяжении нескольких столетий; при этом христианская церковь, ранее призывавшая к отказу от брака и деторождения, уже в IX веке изменила свое отношение на противоположное [Арутюнян А.А., 2000]. Быстро сокращался лесной покров, вода из образовавшихся болот стекала в реки вместе с отходами бесконтрольно растущих городов. Экологический кризис вызвал социальную напряженность, беспорядки и эпидемии. Все более кровопролитными становились войны. В XIV веке «черная смерть» (чума) погубила более трети населения Западной Европы, но даже такое бедствие лишь временно остановило сложившуюся тенденцию [Ле Гофф Ж., 1992].

По свидетельству историков, в XVI веке площадь лесов на территории Москвы и Подмосковья в два раза и более уступала нынешней [Восточноевропейские... 1994], [Кульпин Э.С., 1995]. Заметим, население этой территории исчислялось тогда десятками тысяч, и можно было бы полагать, что его дальнейший рост приведет к окончательной экологической катастрофе.

Кризис сельскохозяйственной цивилизации был смягчен массовой эмиграцией, а также внедрением продуктивных заморских культур (кукуруза, картофель и др.), переходом к использованию каменного угля [Ле Гофф Ж., 1992], [Бондарев Л.Г., 1996]. «Доиндустриальный рывок», превративший Западную Европу из безнадежного аутсайдера Евразии в мирового лидера, предварялся и сопровождался бурным развитием идей гуманизма, просвещения и прогресса, превосходства активного Духа над пассивной Материей, Будущего над Прошлым (см. раздел 2.1). В общественном сознании заметно возросла ценность индивидуального успеха, квалификации и образования. По данным В.А. Мельянцева [1996], на рубеже 1—2 тысячелетий западноевропейские страны по уровню грамотности взрослого населения (как и по другим показателям) уступали ведущим государствам Азии в 2 раза и более, а к началу промышленного переворота превзошли их в 3—3,5 раза.

Достижения в гуманитарной сфере обеспечили комплексный исторический прорыв, оставивший позади сельскохозяйственный кризис. Одновременно они рационализировали чувство превосходства и ориентацию на экстенсивный рост, подкрепленный техническими достижениями.

Власть европейских держав, распространявших огнем и мечом свет разума среди отсталых народов, охватила всю планету, естественные ресурсы которой попадали под контроль метрополий. Вместе с социально-экономическим благополучием и потребностями росла вера граждан в нравственный прогресс и вечный мир, построенный на безусловном превосходстве Западной культуры, европейских ценностей и ума. Войны в дальних краях казались не более чем захватывающими приключениями храбрых солдат. Напомню (см. раздел 1.1): во всех колониальных войнах XIX века европейские потери составили 106 тыс. человек, тогда как потери их противников исчислялись миллионами.

К началу XX века резервы экстенсивного роста были исчерпаны, но до отрезвления оставалось еще далеко. О том, что инерция экстен-

сивного роста и соответствующие настроения продолжали доминировать, можно судить не только по дальнейшим событиям, но и по множеству официальных, мемуарных документов и косвенных данных. Жажда все новых успехов и достижений рождала в умах политиков, интеллигенции и масс радостное ожидание то ли «маленькой победоносной войны», то ли «революционной бури» [Человек..., 1997]. Наглядной иллюстрацией к сказанному могут служить фотографии, датированные августом 1914 года (начало Первой мировой войны!), на которых изображены многотысячные толпы восторженных манифестантов на улицах Петрограда, Берлина, Вены и Парижа.

Так и вышло (см. раздел 1.1), что суммарные военные потери европейских стран за XIX век составили около 5,5 млн. человек — по нашим расчетам, порядка 15% всех мировых жертв, — а в XX веке — до 70 млн., т.е. не менее 60%. Потребовались две мировые войны, Хиросима и многолетнее «равновесие страха», чтобы Европа психологически перестроилась. Надолго ли?...

Сопоставление множества кризисных эпизодов прошлого и настоящего позволяет обобщить некоторые психологические наблюдения. Когда инструментальные возможности агрессии превосходят культурные ограничители и начинается экстенсивный рост, общественное сознание и массовые настроения приобретают соответствующие свойства. С ростом потребностей усиливается ощущение всемогущества и вседозволенности. Формируется представление о мире как неисчерпаемом источнике ресурсов и объекте покорения. Эйфория успеха создает нетерпеливое ожидание все новых успехов и побед. Процесс покорения, а значит, и поиска умеренно сопротивляющихся врагов, становится самоценным, иррациональным и нарастающим.

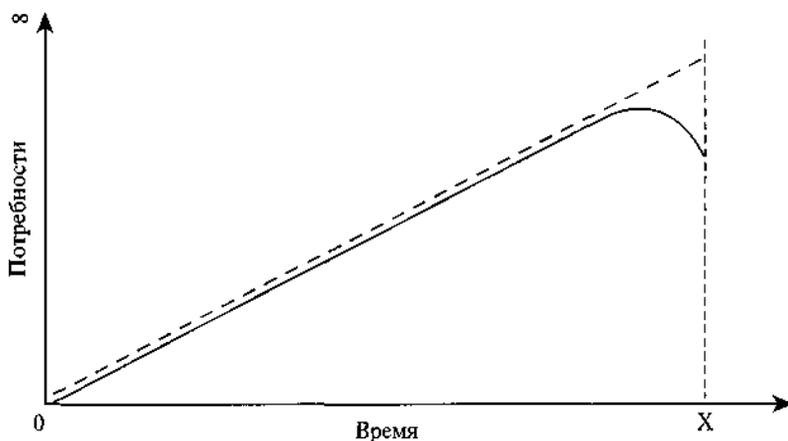
Близость желанных целей усиливает мотивационное напряжение («феномен градиента цели»). Согласно же *закону оптима* (закон Йеркса — Додсона), эффективность простой деятельности пропорциональна силе мотивации, но эффективность сложной деятельности при чрезмерной мотивации падает. В этом один из источников опасности.

Как известно из экспериментальной психосемантики, эмоциональное напряжение уменьшает размерность сознания [Петренко В.Ф., 1982]. Снижается когнитивная сложность субъекта, мышление примитивизируется и проблемные ситуации видятся элементарными, в то время как объективно с ростом технологических возможностей задача сохранения социальной системы становится более сложной. Иначе говоря, индекс в числителе уравнения /// не только не растет соразмер-

но знаменателю, но, напротив, падает. Углубляющийся таким образом культурный дисбаланс снижает внутреннюю устойчивость общества.

Изучая предпосылки революционных кризисов, американский психолог Дж. Девис [Davis J., 1969] показал, что им всегда предшествует рост качества жизни и опережающий рост ожиданий. В какой-то момент удовлетворение потребностей несколько снижается (часто в результате бурного демографического роста, или неудачной войны, которая мыслилась как «маленькая и победоносная»), а ожидания по инерции продолжают расти. Разрыв порождает фрустрации, положение кажется людям невыносимым и унижительным, они ищут виновных — и агрессия, не находящая больше выхода вовне, обращается внутрь социальной системы. Эмоциональный резонанс провоцирует массовые беспорядки [Назаретян А.П., 2001]. Часто это становится завершающим актом в трагикомедии предкризисного развития.

Динамика удовлетворения потребностей и революционная ситуация (по Davis J., 1969).



Сплошная линия — динамика удовлетворения потребностей (экономический уровень, политические свободы и т. д.). Пунктирная линия — динамика ожиданий. Точка X на горизонтальной оси — момент обострения напряженности чреватый социальным взрывом. (Взрыв происходит или нет в зависимости от ряда «субъективных» факторов).

Автору этих строк доводилось много работать с графиком Девиса, примеряя его к разным странам и ситуациям, и убедиться в его эвристической продуктивности [Назаретян А.П., 1998]. Мой опыт позволяет добавить, что эта модель применима

и к большим сообществам, типа государств и цивилизаций, и к малым, действующим внутри большого сообщества²⁴; сегодня она с определенными оговорками применима и к мировой цивилизации.

В разделе 1.1 приведены факты, которые в совокупности своей демонстрируют заметный сдвиг в общественном сознании второй половины XX века. Забрехала надежда, что культуры западного типа уже выработали прочный резерв рационального контроля над инстинктивными импульсами линейной экспансии.

Но, к сожалению, ход событий в 90-х годах, после победы одной из сторон в холодной войне, показывает, что степень зрелости политического мышления даже в самой продвинутой из современных культур не отвечает требованиям, налагаемым растущим технологическим потенциалом. Эйфория успеха в очередной раз обнажила атавистический инстинкт и запустила психологические механизмы силовой экспансии. В отсутствие соразмерного сопротивления среды заметно снизились политический интеллект и способность комплексно оценивать последствия сиюминутно соблазнительных действий, а соответственно, качество принимаемых решений.

В годы холодной войны американские спецслужбы демонстрировали образцы политической технологии, проводя подчас тонко продуманные операции для достижения четко поставленных целей. Это обеспечивалось участием в подготовке операций специалистов по политической психологии, страноведению и культуре (см. об этом [Назаретян А.П., 1998]). Перестав же ощущать соразмерное сопротивление среды, стратеги начали терять голову. Их интерес к сотрудничеству с психологами и культурологами заметно ослаб, а решения делаются импульсивными, самонадеянными и плохо продуманными.

Когда в ответ на взрывы американских посольств в августе 1998 года последовала безадресная стрельба ракетами — до выявления конкретных преступников и их местонахождения, — это подозрительно напомнило реакции первобытного человека: при исчезновении сородича считается несомненным, что ви-

²⁴ Например, эта модель, вкуче с законами мотивационного оптимума и эмоционального уплощения образа, помогает понять некоторые процессы в революционных партиях и причины неожиданного «поглупения» политических лидеров при ощущении приближающегося успеха.

новно соседнее племя и требуется в ответ убить *кого-нибудь* из его представителей [Першиц А.И. и др., 1994]. Инстинкт овладения пространством оказался сильнее рациональных доводов и при решении о расширении НАТО на восток, хотя до 80% научных аналитиков США предупреждали о его экономической и политической контрпродуктивности.

Кульминацией процесса в 90-х годах стало нападение на Югославию (март 1999 г.). Даже удивительно, какой плоской моделью руководствовались западные политики при подходе к сложнейшему конфликту, как мало знали о регионе люди, принимавшие решение о начале военных действий. (Из ученых-гуманитариев по-настоящему были востребованы только правоведы, получившие задание юридически обосновать вторжение, но так и не сумевшие вразумительно это сделать).

Правило психодиагностики: если в какой-то из значимых тематических областей интеллектуальный уровень рассуждений субъекта заметно снижается, за этим следует искать скрытый патогенный фактор [Обуховский К., 1972]. В нашем случае снижение когнитивной сложности отчетливо прослеживается не только в политических действиях, но также в приемах идеологической и пропагандистской рационализации.

По данным американских психологов [Kris E., Leites N., 1953], даже во время Второй мировой войны одномерные смысловые конструкты, связанные с безусловной демонизацией противника, систематически использовались только советской и отчасти немецкой пропагандой, тогда как западные союзники строили апелляции в прагматическом ключе. В 1939 году У. Черчилль, бывший тогда военным министром, подвергся публичным упрекам только за то, что позволил себе назвать нацистов «гуннами».

Дело не столько в том, что уровень пропагандистской аргументации опустился до манихейского уровня, сколько в том, что он оказался приемлемым для общественного сознания. Удовлетворяясь односторонней информацией и прямолинейной агитацией, люди не искали альтернативных источников и не задавали себе самых очевидных вопросов. Например, почему следует столь бескомпромиссно защищать интересы косовских албанцев, но не кипрских греков, высланных из своих домов в результате внешней военной интервенции, не сербских беженцев, насильственно вытесненных из сопредельных стран, и не курдов, подавление прав которых в Турции превосходило по

жестокости репрессии против косоваров? Или: как бы действовал на месте С. Милошевича демократический президент, если бы в страну проникли сотни тысяч нелегальных иммигрантов, стали бы вооружаться, убивать и изгонять коренных жителей и требовать отделения части территории?

Задумавшись над подобными вопросами, непредвзятый наблюдатель убедился бы, что спасение албанцев — не более чем предлог, и сербы выбраны в качестве объекта агрессии просто потому, что были сочтены достаточно слабыми и «чужими». А средневековая («домакиавеллиевская») аргументация, связывающая военную агрессию исключительно с моральными резонами, — самообман, убожество которого и составляет самый опасный аспект ситуации. Коль скоро *масса* американских и европейских *граждан* (выделенные слова в норме абсолютно не сочетаемы) так легко поддавалась гипнозу бого-дьявольских образов, приходится предположить, что люди были «обманываться рады». Т.е. общество бессознательно ожидало и жаждало врага, которого ему и преподнесли на блюде.

В 1991 году подготовка одобренной ООН операции по освобождению захваченного Кувейта вызвала в Европе волну антивоенных демонстраций. А в 1999 году неспровоцированная агрессия против суверенного государства без санкции гражданских международных организаций по большей части сопровождалась активным или пассивным одобрением. Это очень тревожный симптом, свидетельствующий о том, что за прошедшие 8 лет созревшее прежде чувство потенциальной опасности и ответственности вытеснялось до боли знакомым ощущением всемогущества и безнаказанности. И что выработанные западной духовной культурой терпимость, способность к пониманию оппонента и вкус к компромиссу не выдержали испытания глубоко скрытыми и удивительно легко рационализуемыми импульсами агрессии.

На этом фоне не выглядят случайными и ряд других событий и процессов в последующие годы. В их числе то, что наметившееся было снижение военных расходов США сменилось в конце 90-х годов обратной тенденцией.

В наших статьях, опубликованных по следам югославских событий, и в первом издании этой книги (июль 2001 года) говорилось, что рассуждения журналистов и политологов об экономических выгодах войны и далеко идущих планах НАТО сильно смахивают на попытки рационализировать действия, по-

буждаемые, прежде всего, иррациональными мотивами, и «понять умом» народы и политические элиты, объятые эйфорическим ощущением всемогущества. Что очередной успех относительно «малой кровью», вероятнее всего, толкнет политических и военных лидеров НАТО на новые авантюры, на поиск новых побед и новых достаточно слабых врагов. И что за этим будут стоять не продуманные стратегии, а вышедший из-под сознательного контроля угар экстенсивного роста. Наконец, что, по «классическому» сценарию, военная машина НАТО должна рано или поздно столкнуться с адекватным противодействием или внутренне расколется на конфликтующие блоки и рухнуть, погребя под собой европейскую (а при нынешнем потенциале военных технологий, едва ли не всю планетарную) цивилизацию.

Позже я ознакомился с книгой американского историка С. Маттерн [Mattern S., 1999], в которой проводятся недвусмысленные параллели между настроениями современных американцев и граждан Римской империи на взлете ее могущества. Исследовательница выявила отчетливые признаки предкризисного синдрома в поведении римлян: потребность военных успехов сделалась самодовлеющей, заслонив экономическую, геополитическую и прочую целесообразность. Этот невроз навязчивых состояний стал далекой предпосылкой, а затем и преддверьем цивилизационной катастрофы (см. также [Васильев В.С., 2003]).

По тому, как складываются события, приходится с болью в сердце констатировать пренеприятное обстоятельство, и эта констатация только конкретизирует выводы разделов 1.2 и 2.6. Развивающийся на наших глазах политический терроризм — бич современного общества — приобретает такое же драматически *воспитательное* значение, какое в XX веке имела атомная бомба, а в прежние эпохи — огнестрельное, стальное, бронзовое, дистанционное (охотничий лук) оружие и прочие шедевры человеческой изобретательности. Во всяком случае, зимой 2002/2003 года, когда США готовили войну в Ираке, массовая оппозиция ей в Западной Европе, да и в Америке, была несравненно интенсивнее, чем в 1999 году. Я не вижу более убедительного объяснения причин этого обстоятельства, чем усилившийся страх перед террористическим возмездием.

Комментировать быстро текущую политическую ситуацию уместнее в газетной статье, чем в книге. Отметим только, что,

как показал опыт последних полутора десятилетий, даже с учетом значительных культурных подвижек, общественное сознание в странах Запада остается, совсем по Ф. Ницше, «человеческим, слишком человеческим». Оно трудно выдерживает испытание успехом, поддается иррациональной эйфории, испытывая ту же бессознательную тоску по драматическим событиям и острым эмоциональным переживаниям, какая была характерна для поколения *belle époque* в преддверье Первой мировой войны (см. подраздел 2.8.2). Культура все еще не выработала достаточно эффективных внутренних противовесов, которые могли бы заменить соразмерное сопротивление геополитической среды, а следовательно, человечество пока не доросло до бесплюсной самоорганизации мирового сообщества.

Одним из важнейших параметров антропогенного кризиса является его *глубина*. Чем больше объем ресурсов для экстенсивного роста и чем, следовательно, дольше не поступает отрицательная обратная связь от среды, тем прочнее выработанные стереотипы деятельности и меньше шансов на успешное разрешение кризиса [Люри Д.И., 1994]. В итоге может окончательно обнажиться синдром *Homo prae-crisimos* («хлеба и зрелищ»), который не раз в истории предвещал крушение процветающих цивилизаций.

Повторим, драматизм состоит не только в умножении человеческих жертв. Растущие «знания массового поражения» (Б. Джой), освобождаясь от контроля государственных и прочих формальных органов, либо будут компенсированы революцией в сферах гуманитарной культуры и психологии, либо приведут к такому снижению устойчивости глобальной цивилизации, при котором сползание к пропасти станет необратимым.

Но вернемся к опыту «оптимистических трагедий». В период катастрофы срабатывает *закон поляризации*, о котором рассказано в разделе 2.1. Напомню, одни реагируют самоубийствами, умственными расстройками, ожесточением и социально-нравственными патологиями; другие — напряжением творческих сил и «альтруистическим перевоплощением». В тех случаях, когда позитивно акцентированной части населения удастся сыграть решающую роль, общество выходит из горнила преображенным.

Сравнивая состояния культуры до и после антропогенных кризисов, мы замечаем, что успешное преодоление кризиса

каждый раз обеспечивалось комплексом сопряженных изменений по всем выделенным ранее параметрам.

- Возрастала удельная продуктивность технологий — объем полезного продукта на единицу вещественных и энергетических затрат. Это типичный признак перехода от экстенсивного к интенсивному развитию: при монотонном увеличении массы потребляемых ресурсов эффективность их использования снижается [Люри Д.И., 1994], а более совершенные технологии обеспечивают «рост КПД общественного производства или, что то же самое, уменьшение приведенных энергозатрат на единицу общественного продукта» [Голубев В.С., Шаповалова Н.С., 1995, с.69].
- Расширялась групповая идентификация, усложнялись организационные связи, росла внутренняя диверсификация общества. Как внутреннее разнообразие влияет на удельную эффективность производства, мы обсуждали в «Очерке I, ссылаясь на работу выдающегося экономиста и социолога Ф. Хайека [1992]. В настоящем очерке (разделы 2.5 и 2.6) отмечена зависимость от этого параметра экологической и геополитической устойчивости общества. Все это частные выражения общесистемного закона Эшби, который подробнее анализируется в Очерке III.
- Увеличивалась информационная емкость мышления — когнитивная сложность, охват отражаемых зависимостей и т. д. Обсуждению опосредованной связи этих интеллектуальных качеств со сложностью технологий и социальных отношений посвящены разделы 2.4—2.6.
- Совершенствовались приемы межгруппового и внутригруппового компромисса — система культурных ценностей, мораль, право, методы социальной эксплуатации, цели и формы ведения войны; в итоге политические задачи, как и хозяйственные, могли решаться ценой относительно меньших разрушений.
- Тем самым складывались условия для нового роста населения, а также социальных потребностей и притязаний, и... начиналась дорога к следующему эволюционному кризису.

* * *

Авторы книги [Арманд А.Д. и др., 1999] убеждены в большей эффективности послекризисных состояний системы по сравнению с докризисными состояниями, «хотя критерии этой эффективности еще предстоит сформулировать» (с. 49). Думаю, мы уже готовы к тому, чтобы указать такие сравнительные критерии, используя категориальный аппарат теории систем и синергетики.

2.8. Общий знаменатель эволюционных векторов. Синергетическая модель культуры

Прогрессивным считается такой путь развития системы, на котором она со временем все более удаляется от равновесия с окружающей средой.

В.С. Голубев

Только в механическом, то есть лишенном телеологии мире может возникнуть свободное нравственное существо, «личность».

Н. Гартман

2.8.1. Устойчивое неравновесие, «удаление от естества» и провоцирование неустойчивостей

Охота и собирательство — «естественные» формы человеческой деятельности, а то, что произошло за последние тысячелетия, в основе своей «неестественно». Нет ничего «естественного» в государстве, цивилизации или экономическом росте.

Д. Кристиан

Сообщества, вышедшие за порог первобытности, предстают... как некоторая аномалия, как случаи, когда неспособность достичь равновесного состояния на первобытном эволюционном уровне привела не к вымиранию, а к болезненному переходу на более «высокий» эволюционный (энергетический) уровень и к попыткам (далеко не всегда успешным) достигнуть равновесия уже на этом уровне.

А.В. Коротаев

Пытаясь привести пять выделенных векторов исторической эволюции к общему знаменателю, мы обнаруживаем обстоятельство довольно неожиданное с точки зрения расхожих экологических сентенций. Стержневая тенденция изменений, пронизывающая историю и предысторию общества, состояла в

последовательных переходах от более естественных к менее естественным состояниям.

Особенно выражен данный парадокс на переломных этапах: конструктивное преодоление каждого из антропогенных кризисов в социоприродных отношениях обеспечивалось не возвращением человека к природе, а, напротив, очередным удалением общества вместе с природной средой от естественного (дикого) состояния. Это касается типов хозяйствования (охота и собирательство естественнее скотоводства и земледелия, сельское хозяйство естественнее промышленности, промышленное производство естественнее информационного), степени инструментальной и когнитивной опосредованное™ действий, удельного веса искусственных, субъектно-волевых регуляторов социоприродной системы, соотношения сокращающегося биологического разнообразия и возрастающего культурного разнообразия и т. д.

Примечательна, в частности, динамика демографических колебаний. Антропогенные кризисы почти всегда были так или иначе связаны с ростом населения, которое, как мы видели, опережало рост внутреннего разнообразия социальных систем. Вместе с тем успешное («прогрессивное») преодоление кризиса, расширив и углубив экологическую нишу человека, обеспечивало новый демографический рост. Это фиксируется как на региональном, так и на глобальном уровнях анализа.

Позволим себе мысленный эксперимент, а для этого вообразим невероятное. Если бы 15—20 тысяч лет назад на Земле объявился аналитик, оснащенный знанием глобальной экологии, географии и математики, он бы убедительно доказал, что наша планета не способна прокормить больше 5 млн. человек. Число получается делением общей территории суши, не покрытой ледниками (немного более 100 млн. кв. км.), на 20 кв. км. — территорию, необходимую в среднем для прокорма одного охотника. Достоверность расчета подтвердил бы реальный ход событий: приблизительно такая численность населения планеты (см. раздел 2.7) составила максимум, при котором и произошел верхнепалеолитический кризис, один из самых тяжелых в истории человечества.

Выходит, «палеолитический эколог» (простой расчет за которого автору помог провести географ В.В. Клименко) в профессиональном отношении был совершенно прав. Взирая с высоты последующих тысячелетий, мы найдем у него только одну, почти «философскую» ошибку: профессионал не учел творческий характер развития, и потому дальнейшая история дезавуировала математически безупречный вывод.

А именно, расчет строился на молчаливом убеждении в незыблемости знакомых аналитику технологий, социальных структур и психологических установок. Он не мог представить себе людей, вооруженных серпом, плугом, тем более станком или компьютером, и не имел данных для соответствующих оценок, но поторопился абсолютизировать актуально достоверный результат. Тот факт, что земледелие обеспечило рост населения на тех же площадях в десятки, а затем в сотни и в тысячи раз, стал бы для него абсолютной неожиданностью.

В последующем наш бессмертный эколог еще неоднократно попадал бы впросак с экстраполяционными расчетами, актуально корректными, но недооценивающими творческий фактор: и в раннюю железную эпоху, и в эпоху затяжного кризиса сельскохозяйственной цивилизации (см. раздел 2.7). Добавлю, что этот персонаж остается плодом нашего воображения вплоть до Нового времени. В конце XVIII века он воплотился в крупной фигуре Т. Мальтуса, которому были недоступны известные теперь исторические сведения, а потом в его последователях, которые эти сведения просто игнорируют...

Обнаружив, что до сих пор исторический процесс был направлен от более естественных к менее естественным состояниям социоприродной системы и что этому соответствовал механизм «прогрессивного» разрешения антропогенных кризисов, нельзя не задаться вопросом о причинах столь удивительного обстоятельства. Легче всего предположить наличие изначальной программы или цели развития, и это соблазнительное допущение (хотя и не всегда эксплицированное) составляет самый уязвимый пункт классических концепций прогресса. Но, как отмечалось во вступительном очерке, современные общенаучные подходы избавляют от необходимости телеологических допущений при объяснении векторных процессов.²⁵

Коль скоро я ранее признался, что логика нашего изложения в некотором отношении обратна логике исследования, открою еще один секрет. Как гипотеза техно-гуманитарного баланса предшествовала сравнительным расчетам социального насилия, так сама гипотеза и вообще концепция эволюционных кризисов подсказана синергетической моделью.

В синергетическом определении *общество есть неравновесная система особого типа, устойчивость которой обеспечивает*

²⁵ «Освобождают от необходимости» — не значит «исключают возможность». Ничто не запрещает, например, постулировать присутствие «суператтрактора», в направлении которого и происходит историческое развитие [Бранский В.П., 1999]. На мой взгляд, однако, достоинство синергетики в том, что она *позволяет* без этого обойтись.

ся искусственным опосредованием внешних (с природной средой) и внутренних отношений, а культура — весь комплекс опосредствующих механизмов: орудия и прочие материальные продукты, языки, мифологии, мораль, право и т. д. Будучи совокупным антиэнтропийным механизмом, культура должна изменяться в соответствии с потребностями неравновесной системы. Как известно, сохранение последней обеспечивается постоянной работой, противопоставленной уравнивающему давлению среды, а такая работа оплачивается ускоренным ростом энтропии других систем — источников свободной энергии и вещества.

Если позволяют условия, система стремится к экстенсивному развитию, наращивая нагрузку на среду и истощая ее ресурсы, причем «агрессивный характер диссипативных структур тем резче проявляется, чем обильнее, доступнее источники питающей их энергии» [Арманд А.Д. и др., 1999, с.181]. Поскольку же с увеличением объемов ресурсопользования его удельная эффективность снижается, то рано или поздно линейное усиление антиэнтропийной работы и ее результатов оборачивается своей противоположностью — опасностью катастрофического разрушения среды вместе с самой системой.

Таким образом, механизмы, эффективно функционировавшие на прежнем этапе жизнедеятельности, на новом этапе становятся дисфункциональными. Одним из характерных примеров может служить филогенез интеллекта. Формируясь изначально как *инструмент агрессии* (разрушения окружающих неравновесных систем — источников свободной энергии для антиэнтропийной работы организма), он на определенном этапе сделался смертельно опасным для своего носителя; нейтрализация опасности была обеспечена, как мы видели, качественно новыми, неизвестными природе средствами регуляции.

Анализируя кризисные явления (раздел 2.6), мы выделили три возможных результата: разрушение неравновесной системы (катастрофа), смена среды обитания и смена шаблонов жизнедеятельности. Для эволюционных — эндо-экзогенных — кризисов третий вариант, в общем случае, связан с совершенствованием антиэнтропийных механизмов, обеспечивающих большую удельную продуктивность (объем полезного результата на единицу разрушений среды). Как правило, это достигается усложнением организации и ростом «интеллектуальности» и становится возможным в том случае, если к моменту обостре-

ния накоплено и сохранено достаточное количество неструктурированного — «избыточного» — внутреннего разнообразия. Вернувшись к этому вопросу в Очерке III, мы убедимся, что зафиксированные здесь зависимости охватывают широкий круг явлений далеко за пределами социальной истории.

На языке синергетики сценарии разрешения кризиса называются *аттракторами* и в ряде случаев могут быть описаны как квазицелевые состояния, т.е. аналоги тактической цели.

Саморазрушение — *простой аттрактор* — редко становится целью интеллектуальной системы, хотя и такие случаи не исключены. Они имеют место и в социальной жизни (альтруистические или анемические самоубийства, как индивидуальные, так и коллективные), и в природе (скажем, уже упоминавшийся «феномен леммингов»), и в технических устройствах (например, боевые самонаводящиеся ракеты и т. д.).

Более характерные цели — миграция в новую среду с еще не исчерпанными ресурсами, или адаптация к изменившимся условиям без качественного развития системы. Последнее, однако, возможно при кризисах экзогенных, т.е. вызванных в основном спонтанными внешними событиями. В истории биологических видов и первобытных племен изредка наблюдаются даже случаи «адаптивного регресса» — когда спасительными оказываются упрощение и относительная примитивизация.

Для нашей темы наибольший интерес представляют сценарии со *странным аттрактором* — те случаи, когда устойчивость, обеспеченная новыми механизмами жизнедеятельности, достигается на более высоком уровне неравновесия со средой, т.е. случаи сохранения через развитие. Этот вариант реализуется в меньшинстве случаев, но частичные временные успехи при решении актуальных задач самосохранения (напомню, «успех» по латыни — *progressus*) ретроспективно выстраиваются в последовательную тенденцию «удаления от естества».

Добавим, что с исчерпанием резервов для крупномасштабной миграции социумов «прогрессивный» путь разрешения кризиса становится решающим. Все более выпукло обозначается дилемма крайних сценариев ответа на кризис: упрощение, разрушение, приближение к равновесию — или усложнение, достраивание, еще большее удаление от равновесия.

Обращение к синергетике помогает сформулировать критерии возрастающей эффективности «послекризисных систем»,

которые вне этой модели четко не отслеживаются, хотя (см. раздел 2.7) интуитивно угадываются исследователями эволюции.

Сама по себе категория устойчивости здесь мало что решает, поскольку примитивные системы, как правило, устойчивее сложных, в чем легче всего убедиться, просто сравнив длительность существования различных биологических видов или различных типов социальной организации. Единая же шкала эффективности антиэнтропийных механизмов (безотносительно к конкретной системе и конкретной обстановке) может выстраиваться *по уровню неравновесия со средой*, на котором удается стабилизировать состояние системы. Общество, успешно преодолевшее эволюционный кризис, достигает устойчивости на более высоком уровне неравновесия; в этом концентрируется весь комплекс относительных преимуществ и, соответственно, недостатков «послекризисной» культуры по сравнению с «докризисной».

Как отмечал И. Пригожий [1985], равновесие слепо, а неравновесие становится «зрячим». Неравновесное состояние дает системе «зрение», которое помогает избегать уравнивания со средой. Чем выше уровень устойчивого неравновесия, тем отчетливее выражены качества субъектности и субъективности, а «удаление от естества» — это возрастающая роль человеческой воли, идеальных образов, мыслей и планов в совокупной детерминации мировых процессов.

Оглядываясь в прошлое, можно проследить, как последовательно возрастал удельный вес событий, происходящих в субъективном («виртуальном») мире, по отношению к событиям в мире физическом («масс-энергетическом»). Художественные образы, религиозные и философские учения, научные открытия и бред полубезумных фанатиков оказывали все более значительное влияние на ход *материальных* процессов, превосходя по масштабу последствий (которые определимы даже по энергетическим показателям) землетрясения, цунами, падения метеоритов и прочие природные катаклизмы. Эта результирующая общеисторическая тенденция — парафраз того, что Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден и В.И. Вернадский назвали становлением ноосферы, а здесь обозначено как удаление от естества...

Обратим внимание на ряд решающих отличий социально-синергетической модели от идеологических, позитивистских и функционалистских концепций развития.

Во-первых, прогресс — не цель и не путь к конечной цели, а

средство сохранения неравновесной системы в фазах неустойчивости. «Апостериорно» отслеживаемая векторность развития не является следствием заложенных программ или врожденных человеку стремлений: это последовательность вынужденных преобразований, каждое из которых, способствуя решению актуальных жизненных проблем, рождает множество новых, еще более сложных проблем.

Во-вторых, это процесс, хотя и кумулятивный, но *не аддитивный*: социологи, полагающие, что «макроэволюция есть сумма микроэволюций», недооценивают нелинейный характер макроэволюционных изменений, опосредованных драматическими противоречиями и кризисами.

В-третьих, хотя социальная эволюция отчасти является адаптивным процессом, суть дела не в том, что общество адаптируется к окружающей среде, а в том, что оно последовательно *адаптирует внешнюю природу* к своим возрастающим потребностям, а также *перестраивает внутреннюю природу* человека в соответствии с его возрастающими возможностями и последствиями преобразующей деятельности.

В-четвертых, хотя сугубо внешние и внутренние факторы влияют на ход эволюционного процесса, решающую роль в его направлении играют *спровоцированные неустойчивости* — последствия собственной дезадаптивной деятельности общества. Во многих случаях там, где некоторые исследователи усматривали результаты природных катаклизмов или внутренне обусловленные всплески энергии, синергетическая модель помогает увидеть разбалансировки в системе культуры, предкризисные процессы или, наоборот, ответы культуры на антропогенные кризисы. В частности, собранный нами фактический материал подтверждает наличие причинной связи между демографическими и технологическими процессами, о которой, несколько примитивизируя Дж.М. Кейнса [1922], пишут многие социологи, однако заставляет переставить акценты. Не демографический рост «толкал» технологическое развитие (ср. [Boserup E., 1965], [Клягин Н.В., 1999], [Ганжа А.Г., 2000]), а напротив, новые технологии создавали предпосылки для роста населения. Это одна из форм экологической агрессии, свойственной живому веществу: при благоприятных условиях популяция, численно увеличиваясь, захватывает жизненное пространство.

Наконец, в-пятых, провоцирование неустойчивостей — не случайный сбой в нормальной жизнедеятельности общества, а

имманентное свойство поведения. Синергетика, высвечивающая в любом предмете спонтанную активность, альтернативна гомеостатическим моделям, в том числе их модернизированной версии, построенной на принципе «максимизации потребления». Чем выше уровень устойчивого неравновесия (и, соответственно, чем более явно выражено качество субъектности), тем сильнее *утомляемость от однообразия.* У человека как самой неравновесной из известных нам устойчивых систем тяга к «бескорыстному» уклонению от устойчивых состояний отчетливо представлена потребностно-мотивационными и эмоциональными особенностями психики.

Поскольку этот аспект имеет прямое отношение к прогнозированию и предупреждению кризисогенных действий, рассмотрим его подробнее.

2.8.2. Синергетический и психологический аспекты социального конфликта, или: почему так трудно избавиться от войн?

*Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...*

А.С. Пушкин

Долгий мир зверит человека.

Ф.М. Достоевский

Все зло в мире происходит от скуки.

Ф. Верфель

Наши самые крупные конфликты имеют до смешного мелкие мотивы и причины.

М. Монтень

Человечество не потому... постоянно готово к борьбе, что разделено на партии, враждебно противостоящие друг другу; оно структурировано именно таким образом потому, что это представляет раздражающую ситуацию, необходимую для разрядки социальной агрессии.

К. Лоренц

То, что активность, обычно направленная на решение предметных задач, имеет для организма самостоятельное жизненное значение, было обнаружено сравнительно недавно [Hunt Mc.V.J., 1971], [Симонов П.В., 1975]. Это открытие заставило решительно пересмотреть гомеостатические подходы, доминировавшие прежде в биологии, физиологии, психологии и социальных науках.

Специальными наблюдениями и экспериментами выявлен особый тип потребностей и мотивов, которые названы *функциональными*. Это надситуативные и несводимые к предметным потребностям стремления к активности как таковой. Они образуют основу мотивационной сферы, обычно не осознаются и

развиваются в процессе фило— и онтогенеза вместе со всей психической системой, составляя антипод стабилизирующих потребностей.²⁶

Так, стабилизирующая потребность организма в самосохранении дополняется потребностью в физическом движении; потребность определенности образа — потребностью впечатлений; потребность оптимизации самооценки — потребностью общения. Грубо говоря, человек желает безопасности, физического, психического и социального покоя и, вместе с тем, длительный покой душевно утомляет его, усиливает внутреннее напряжение, тягу к острым впечатлениям и эмоциям. Пушкинские строки: «Есть упоение в бою, / У бездны мрачной на краю» [Пушкин А.С., 1954, с.357] — не гипербола. Подобные признания избилуют в художественной литературе и согласуются с данными психологов.

Логично предположить, что и закон возвышения потребностей, краса и бич человеческого существования, произволен от исконного мотивационного противоречия, которое выражено *эмоциональной амбивалентностью*. «Отрицательные» эмоции составляют необходимую предпосылку эмоций «положительных»²⁷, так что «у человека существуют неосознаваемые влечения к получению... отрицательных эмоций... и эти влечения в трансформированном виде широко проявляются в человеческом поведении» [Файвишевский В.А., 1978, с.433].

Данные современной психологии и физиологии не оставляют сомнения в том, что живому существу необходимо периодически испытывать все те эмоции, способность к которым заложена в структуре организма. При длительном отсутствии какого-либо переживания усиливается субъективный дискомфорт, побуждающий к поиску соответствующих раздражителей и к провоцированию подходящих ситуаций.

Сказанное в полной мере относится и к человеку с его богатейшей эмоциональной палитрой. Обратившись к красивой

²⁶ Детальнее и с необходимыми библиографическими ссылками данный предмет проанализирован в работах [Назаретян А.П., 1985, 1986-а, 1991].

²⁷ Для психолога различие между ними во многих случаях условно. Знак эмоции часто определяется образом ситуации (сравним ощущение голода человеком, заблудившимся в лесу, и человеком, садящимся за накрытый стол), а в острых эмоциональных переживаниях боль и наслаждение бывают переплетены неразрывно.

формуле классика: «Человек рожден для счастья, как птица для полета», — приходится основательно ее подпортить. При огромном многообразии индивидуальных вариаций, человек «рожден» и для радости, и для печали, и для страха, и для злости... Отчасти (но только отчасти!) нас спасает противоестественная лабильность психического аппарата, обеспечивающая несравненно большую, чем у высших животных, способность к компенсаторным переживаниям — посредством воображения, коммуникации, ритуала, творческой игры значениями и образами.

К концу 70-х годов удалось в основном раскрыть нейрофизиологические механизмы влечения к таким психическим состояниям, которых, как прежде было принято считать, нормальный субъект избегает. Обнаружены комплексы нейронов, которые ответственны за эмоции ярости, страха и т. д. и которые (как и все прочие нейроны) нуждаются в периодическом возбуждении. При длительной депривации порог их возбудимости снижается, и поведенчески это проявляется в бессознательном провоцировании стрессовых ситуаций [Файвишевский В.А., 1978, 1980], [Лоренц К., 1994].

Как снижение порога возбудимости определенных нейронов выражается в поведении, К. Лоренц демонстрировал на примере обостряющегося полового инстинкта голубя в клетке. Сначала самец реагирует только на самок своей породы, игнорируя остальных. После нескольких дней отсутствия адекватной партнерши он начинает ухаживать за самкой другой породы; еще через несколько дней исполняет свои поклоны и воркованье перед чучелом голубя, потом — перед смотанной в узел тряпкой, а через несколько недель одиночества токует даже на пустой угол клетки.

Другой эксперимент демонстрирует более неожиданное обстоятельство: у высших животных поисковая активность, не обусловленное предметными нуждами стремление к опасности актуализуется даже при идеальных объективных условиях.

Колония крыс помещалась в камеру с многочисленными отсеками — «комнатами», в которых имелись предметы для удовлетворения всех вообразимых предметных потребностей: еда, питье, половые партнеры и т. д. Была предусмотрена даже комната для развлечений с лесенками, манежами, беличьими колесами, педалями, вызывающими технические эффекты. В одной из стен камеры находилась дверь, ведущая в неисследованное пространство, и именно отношение животных к этой двери интересовало ученых.

Отдельные особи стали проявлять к ней нарастающее внимание вскоре после того, как комфортабельная камера была полностью осво-

ена. Это не было похоже на праздное любопытство. Участвовавший пульс, усиленное мочеиспускание, вздыбленная шерсть, хаотические передвижения вперед-назад явственно свидетельствовали о сильном стрессе, испытываемом каждой из «заинтригованных» крыс с приближением к загадочному объекту и особенно — при первых попытках проникнуть за дверь. Налицо был тот самый «бескорыстный риск», который демонстрируют млекопитающие и птицы и который имеет долгосрочное приспособительное значение для популяции, но конкретным особям может стоить жизни [Ротенберг В.С., Аршавский В.В., 1984].

Главное здесь — не сам факт индивидуального риска (нечто внешнее похожее происходит и в муравейнике), но строго регистрируемые симптомы переживания, мотивационного конфликта, свидетельствующего о сложности потребностной иерархии высших животных и наличии надситуативного мотива.

В свете зоопсихологических наблюдений такого рода совсем ушербными выглядят «телерациональные» схемы человеческого поведения, трактующие мотивацию индивидов, групп и обществ через механизм «снятия напряжения» (*tension-reduction theories*) или решения утилитарных задач (*Homo oeconomicus*), сводящие причины политических событий к хозяйственным факторам («политика есть концентрированное выражение экономики»). Модели, игнорирующие *фундаментальную непрагматичность* человеческой мотивации, часто математически стройны и красивы. Но, как правило, они оказываются прогностически бесплодными и, что еще важнее, непродуктивными в рекомендательном плане.

Хрестоматийный пример — не оправдавшиеся надежды на то, что войну удастся искоренить, ликвидировав монархический строй (И. Кант), частную собственность (Ж.Ж. Руссо, К. Маркс) или большие города (П. Кропоткин). Опыт XX века²⁸ подтвердил, скорее, прогнозы философов и психологов, указавших на функциональную подоплеку военных конфликтов (Гегель, Ф. Ницше, З. Фрейд, К. Лоренц).

Серьезные основания для сомнения в достоверности «пред-

²⁸ Казалось бы, города как «узлы мирового зла», в отличие от монархий и режима частной собственности, пока никто не ликвидировал, но и такие попытки имели место. Например, в 1968 году большая группа анархически настроенных парижских студентов решила удалиться от городской цивилизации, чтобы зажить здоровой жизнью, без злобы и конфликтов. Книга [Leger D., Hervieu B., 1979] с подробным изложением этой истории имеет характерный подзаголовок: «В чаще леса... государство».

метных» концепций войны содержат также новые данные истории, археологии и этнографии [Clastres P., 1971], [Першиц А.И. и др., 1994]. Прежде всего, они не оставляют сомнения в том, что военные конфликты сопутствовали человечеству с незапамятных времен.

Еще в начале 70-х годов выдающийся психолог и философ Э. Фромм [1994] доказывал, что феномен войны восходит к образованию первых городов-государств с характерным для них разделением на социальные классы (рабовладением). В том же уверяли нас преподаватели марксистско-ленинской философии: причина войны — классовая эксплуатация. Сегодня уже ясно, что свирепые вооруженные столкновения между племенами систематически происходили задолго до возникновения городов, монархов и частных собственников. И, как уже отмечалось в разделе 2.3, чем более примитивны и сходны между собой соприкасающиеся культуры, тем меньше деталей достаточно для возбуждения взаимной ненависти.

При этом грабеж и даже оккупация жилищ истребленных или успевших бежать врагов отвергается системой анимистического мышления (чужие предметы способны мстить за своих хозяев), которая требует уничтожения захваченного имущества и допускает единственный трофей — отрезанные вражьи головы или скальпы. Интенсификация же боевых действий происходит как в голодные годы, так и в периоды удачной охоты и обильной добычи. В первом случае, вероятно, преобладают предметные мотивы — борьба за охотничьи угодья, — а во втором — сугубо функциональные: энергия требует выхода, хочется напряжений, приключений и подвигов.

Еще более парадоксальные (с точки зрения твердокаменного материалиста) результаты получаются при сопоставлении частоты силовых конфликтов в различных эколого-географических зонах. Так, этнограф А.А. Казанков [2002], проанализировав впечатляющий массив данных по африканскому, австралийскому и североамериканскому континентам, выявил отчетливую *положительную* связь между экологической продуктивностью среды и интенсивностью межплеменной агрессии. В природно изобильных регионах племена проявляют *большую* склонность к взаимной агрессии, чем в суровых условиях полупустыни.

Автор подчеркивает, что такая связь обнаружена только у первобытных людей, но в экономически более развитых сообществах она не прослеживается: например, уже скотоводы по-

лупустыни, в отличие от охотников-собирателей, по уровню межобщинной агрессии не уступают жителям экологически продуктивных областей. Он объясняет это возросшей сложностью, опосредованностью причинных факторов и, соответственно, меньшей зависимостью от экологических условий аграрных и индустриальных обществ по сравнению с палеолитическими.

Приведенные факты трудно уложить в концепции, сводящие причину военных конфликтов к «предметным» — прежде всего, экономическим факторам. По всей видимости, задачи, связанные с присвоением чужой собственности, которые после неолита выдвинулись на передний план, в действительности как бы напластовывались на исторически исходные, функциональные мотивации войны. Впрочем, мы обнаруживаем это и по современным наблюдениям (см. раздел 2.7), и по описаниям историков.

Упомянутая в предыдущем разделе В. Маттерн отмечает, что для римлян «международные отношения были не столько разновидностью сложной шахматной игры в борьбе за новые приобретения, сколько грубой демонстрацией военного превосходства, агрессивных намерений и запугиванием противника. Они вели себя на международной арене подобно героям Гомера, гангстерам или бандитским группировкам, безопасность которых зависит от их готовности совершить насилие» [MatternS., 1999, p. XII].

Известный французский исследователь средневековых войн Ф. Контамин [2001] классифицировал вооруженные конфликты по характерным причинам. Только последнюю из семи позиций занимают «войны экономические — ради добычи, овладения природными богатствами или с целью установления контроля над торговыми путями и купеческими центрами» (с.323).

А вот показательная выдержка из статьи российского историка Е.Н. Черных [1988, с.265]. «Монгольские завоеватели, ведомые Чингисханом и Батыем, тащили бесконечное множество взятых в бою и утилитарно совершенно бесполезных трофеев. Они мешали быстрому продвижению войска, и их бросали, чтобы пополнить свои бесконечные богатства во вновь покоренных городах. Сокровища эти только в относительно малой доле достигали своей центрально-азиатской «метрополии». В конце XIV и в XV веках люди по Монголии кочевали по преимуществу все с тем же нехитрым скарбом, что и накануне мировых завоеваний».

Похожие соображения приводят исследователи Крестовых походов, Конкисты и прочих масштабных военных авантур. Все это наглядные свидетельства «самоценности движения»: процессы боя, захвата и грабежа с их спектром эмоциональных переживаний для субъекта оказываются привлекательнее, чем предметные результаты.

Приоритет *процесса* деятельности над ее предметной целью характерен для человеческой мотивации и в не столь драматическом контексте. Функциональные потребности *опредмечиваются* в стратегических и тактических задачах и тем самым рационализуются, а душевная гармония во многом зависит от согласования предметных и функциональных мотивов. Но всякое усилие требует сопротивляющейся среды (физической, информационной или социальной), и, что для нас здесь особенно важно, если оно ощущается как недостаточное, возникает бессознательное стремление обострить конфликт.

Исследователи регулярно обнаруживают соответствующие явления и в больших, и в малых контактных группах, и даже в животных сообществах.

В аквариум, разделенный прозрачным стеклом надве просторные «квартиры», помещали по паре разнополых рыб. Семейная гармония сохранялась за счет того, что каждая особь вымещала здоровую злость на соседе своего пола: почти всегда самка нападала на самку, а самец на самца.

Далее ситуация развивалась до смешного человекоподобно. «Это звучит как шутка, но... мы часто замечали, что пограничное стекло начинает зарастать водорослями и становится менее прозрачным, только по тому, как самец начинает хамить своей супруге. Но стоило лишь протереть дочиста пограничное стекло — стенку между квартирами — как тотчас же начиналась яростная... ссора между соседями, «разряжающая атмосферу» в обеих семьях» [Лоренц К., 1994, с.61].

Психологи, занимающиеся терапией семейных конфликтов (у людей, разумеется), заметили, что очень часто, вопреки рациональным объяснениям супругов, периодические вспышки конфликтов бессознательно желаются и служат сохранению устойчивости семьи. В группах, надолго изолированных от остального общества, люди со временем испытывают психическое состояние, которое названо *экспедиционным бешенством*. Оно выражается тем, что каждая незначительная деталь в поведении ближайшего друга провоцирует слепую ярость и трудно контролируемую агрессию. При формировании долгосрочных экипажей психологи не только предупреждают о неизбежности таких симптомов, но и обучают специальным приемам для их предотвращения и преодоления [Божко А.Н., Городинская В.С., 1975].

Функционально обусловленные конфликты между людьми отличаются от таковых же между животными тем, что требуют почти неслыханной *рационализации* в предметных задачах, непрощенных обидах и прочее. Скажем, с женой (мужем) ссорятся из-за ее (его) невнимательности или «занудства»; на войну отправляются, чтобы обогатиться, освободить Гроб Господень, распространить истинную веру, а заодно и власть короны, отмстить неразумным хазарам и т. д.

Конечно, конфликт между супругами может иметь вполне объективные основания, а в армию могут «забрить», на фронт отправить по принуждению. Но обсуждаемые здесь ситуации не менее типичны: многолетняя жизнь «на грани развода» иногда служит условием стабильности семьи, обострение сословного, этнического, конфессионального конфликта, или объявление войны между государствами сопровождается массовым энтузиазмом.

Упомянутые в разделе 2.7 картины августа 1914 года служат яркой иллюстрацией сказанного. Анализируя сложившуюся тогда историческую ситуацию в книге «Критика циничного разума», голландский историк П. Слоттердейк указал на «массовый комплекс катастрофофилии» (см. [Человек... 1997]). Конечно, каждый в воображении своем видел не то грязное безмерное кровопролитие, которое вскоре наступило, а нечто быстрое и упоительно победоносное. В моду вошли фразы типа: омоложение, обновление, самоутверждение, очистительная ванна, выведение шлаков из организма, — и они также по-своему демонстрировали не столько заинтересованность в предметных результатах войны, сколько «функциональную» тягу к самому интригующему процессу.

Разумеется, каждая конкретная война обусловлена сложной совокупностью причин. Нехватка территории, половых партнеров, энергетических, пищевых ресурсов (в силу демографического роста или спонтанных экологических сдвигов) — все подобные мотивы в конкретных случаях способны играть решающую роль. Соотношение предметных и функциональных факторов могло бы служить одним из оснований для классификации войн.

Но на протяжении тысячелетий сменялись хозяйственные уклады, рождались, растворялись и умирали этносы, государства, религии и цивилизации, а войны оставались неизменными спутниками человеческой истории. Вероятно, они отвечали ка-

ким-то глубинным социальным и психологическим потребностям, и без учета этого обстоятельства невозможно корректно поставить задачу устранения войны как явления с политической арены.

Как подчеркивал К. Лоренц [1994], главная трудность в искоренении военных конфликтов определяется спонтанностью, внутренней обусловленностью инстинкта агрессии. «Если бы он был лишь *реакцией* на определенные внешние условия, что предполагают многие социологи и психологи, то положение человечества было бы не так опасно, как в действительности» (с.56).

Задачу еще более усложняет то, что функциональные потребности, удовлетворяемые всплесками массового насилия, не ограничены сферой «негативной» мотивации. Война — это не только агрессия, злоба, ярость и страх. А. Рапопорту [1993, с.88] принадлежит тонкое психологическое наблюдение: «Не ненависть, а наоборот, альтруизм, готовность сотрудничать и т.п., возможно, играют важнейшую роль в приспособлении человека к войне, т.е. в сохранении института войны».

Действительно, армия — не толпа, поддавшаяся эмоциональному импульсу. Взрослый вменяемый человек, отправляясь на фронт, не может не понимать, что, прежде всего, рискует собственной жизнью. Матери и жены, провожающие близких, понимают это еще лучше. Поэтому здесь далеко не все можно объяснить актуализацией «инстинкта агрессии», равно как и соображениями «экономического интереса».

Вместе с тем война, особенно на начальной стадии, способствует удовлетворению потребностей в аффилиации и солидарности, в самопожертвовании и в смысле жизни. Она помогает фрустрированному человеку почувствовать себя востребованным, нужным (Родине, Королю, Богу, Нации, Партии), делает мир проще и понятнее, а эмоциональную жизнь — более яркой.

Без учета этих обстоятельств невозможно уяснить, почему массы будущих жертв часто демонстрируют в преддверии военных и революционных бурь энтузиазм «очистительного разрушения», от которого не всегда способны удержаться не только политики, но и художники, и философы, и бытописатели.

Учебники истории переполнены рассказами о войнах и конфликтах не потому, что люди постоянно убивали друг друга. Но в те годы, когда массового насилия не происходило, летописцы

ставили прочерк, или лаконично сообщали: «Миру бысть», «Ничему не бысть».

Журналисты во всем мире знают, что «негативная» информация привлекает больше внимания и выше ценится, чем «позитивная», а интереснее всего то, что связано с человеческими конфликтами. В 1996 году — последнем году «первой чеченской кампании» — в России от отравления некачественным алкоголем погибло в 100 раз больше людей, чем на войне. Сравнив же площадь газетных полос или объем эфирного времени, посвященных той и другой теме, мы получим, конечно, не строгое, но наглядное свидетельство того, насколько война «интереснее» (только ли журналистам?) прочих социальных трагедий...

Одна из самых наивных иллюзий массового сознания — будто люди воюют оттого, что они разные. Мы ранее отмечали, и будем возвращаться к тому, что на самом деле причинная связь противоположна: и в природе [Лоренц К., 1994], и в обществе предпосылкой конфликта служит *одинаковость* субъектов — их потребностей, способностей и т. д. В преддверии конфликта поверхностные различия драматизируются, гипертрофируются сознанием до противоположности. Так работает механизм *рационализации агрессии*, и чем слабее выражены объективные различия, тем интенсивнее взаимная «ненависть к двойнику». Психологами и писателями давно замечено, что ближнего ненавидят сильнее, чем дальнего, а гражданские войны, вовлекающие соседей и близких родственников, протекают ожесточеннее, чем войны межгосударственные и межплеменные.

* * *

Таким образом, синергетическая модель высвечивает два фундаментальных фактора, которые делали неизбежными социальные конфликты и периодическое обострение антропогенных кризисов и, в свою очередь, служили неизменным импульсом качественного развития.

Первым является исчерпаемость ресурсов для поддержания устойчиво неравновесных процессов, обуславливающая неизбежную конкуренцию. В мире бесконечного однородного ресурса не происходило бы качественного развития, а если бы в нем каким-то чудесным образом сформировалось живое вещество, его развитие свелось бы к расширяющемуся воспроизводству примитивных самодостаточных агрессоров.

Второй фактор — парадоксальное стремление устойчиво неравновесных систем к неустойчивым состояниям. Так, геополитические и экологические кризисы, войны и катастрофы порождаются не только и часто не столько «материальными», сколько «духовными» потребностями людей: бескорыстной тягой к социальному самоутверждению, самоподтверждению, самовыражению, самоотвержению, смыслу жизни, приключению и подвигу.

Мы далее убедимся, что сказанное, с определенными оговорками, справедливо и для прежних, «дочеловеческих» фаз Универсальной истории, и что синергетическая модель помогает объяснить факт долгосрочной направленности эволюции от более равновесных к менее равновесным состояниям. Что же касается собственно социальной истории, сам факт ее «противоестественной» ориентированности настолько эмпирически бесспорен, что ретроградно настроенные теоретики вынуждены либо намеренно его игнорировать, либо объявить историю человечества (по меньшей мере, начиная с неолита) вселенской аномалией и «нарушением законов природы».

Так ли это? Правда ли, например, что «человеческая культура — единственный феномен во вселенной, который характеризуется нарастанием сложности» [Классен Х.Дж.М., 2000, с.7]? Тогда, может быть, прав и выдающийся астрофизик И.С. Шкловский [1985], много лет занимавшийся поисками признаков внеземного разума, а в конце жизни разочарованно заключивший, что развитие разума неуклонно ведет любую цивилизацию к эволюционному тупику? Мы утверждаем, что подобные выводы представляют собой недоразумение. И далее покажем, как оно рассеивается при взгляде на историю общества в универсальном контексте.